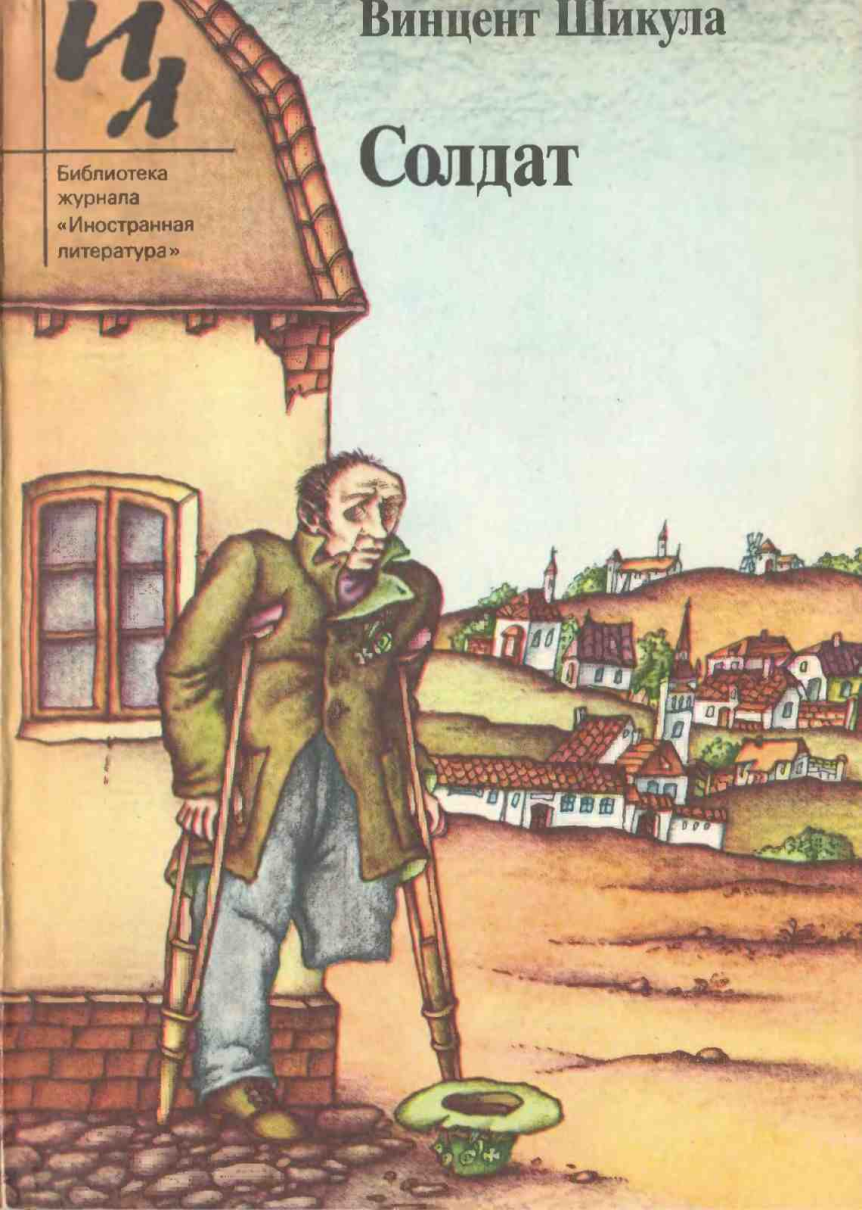


Винцент Шидула

Солдат

ИЛ
Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»



Vincent Šikula

Vojak

Винцент Шикула

Солдат

Повесть

*Перевод со словацкого
Нины Шульгиной*

Предисловие Святослава Бэлзы

Москва
«Известия»
1985

И (Чехосл)
Ш57

Главный редактор Н. Т. Федоренко

Рецензент Р. Р. Кулнецова

Обложка художника В. Шапюка

© Vincent Šikula

© Оформление, предисловие и перевод
на русский язык издательство «Извес-
тия», журнал «Иностранная литера-
тура», 1985

«Негероический» герой Винцента Шикулы

Вот уже на протяжении двадцати лет имя Винцента Шикулы постоянно находится в центре читательского внимания в Словакии; проза его переведена на многие иностранные языки, в том числе и на русский.

Он любит повторять мысль о том, что всю жизнь писатель создает лишь одну-единственную книгу. И хотя сам Шикула выпустил уже добрых полтора десятка очень разных книг, они действительно как бы складываются в некое цельное произведение, вводящее в тот особый мир художника, который отражает и помогает постичь читателю мир реальный.

Флагманом книжной флотилии, сработанной на верфи Винцента Шикулы, стала трилогия «Мастера»*, написанная во второй половине 70-х годов и посвященная антифашистскому Словацкому национальному восстанию. Восстание запечатлено во многих значительных произведениях — таких, как «Хроника» Петера Илемницкого, «Поколение» Владимира Минача, «Мертвые не поют» Рудольфа Яшика, — но Шикуле удалось найти свой нетрадиционный подход к теме, ставшей традиционной для послевоенной словацкой литературы.

Место действия составивших трилогию Шикулы романов «Мастера», «Герань» и «Вильма» — родная для него Западная Словакия, которая в меньшей степени, чем другие области, была охвачена пламенем восстания 1944 года. Однако и здесь, на «периферии» восстания, тоже заметно ощущался его жар, пробуждавший социальную активность масс. Несомненная заслуга писателя в том, что он не только поведал «сагу» о мастере Гульдане и трех его сыновьях, но сумел показать движение истории в народе и роль народа в движении истории.

Новаторство Шикулы отчетливо проявилось в самом типе

* Перевод Н. Шульгиной. Винцент Шикула. Мастера. Герань. Вильма. М., Прогресс, 1981.

повествования. Он виртуозно владеет сказово-притчевой формой, пишет сочным языком, используя идущую от фольклора образность и передавая живость крестьянской речи, умеет сочетать, казалось бы, несовместимое: высокую трагедийность с элементами комизма, гротеска, проникновенную лиричность с иронией. Если прибегнуть к аналогии с кино, то можно сказать, что автор применил сложный монтаж: он то как бы бесстрастно «панорамирует» события, то чередует материал, параллельно отснятый несколькими камерами, то включает документальные кадры, то погружает нас в воспоминания героя, а то позволяет зрителю даже заглянуть на съемочную площадку, увидеть творческие муки режиссера и сценариста в ходе работы над фильмом.

В книге много философских раздумий и афористически четких выводов: «Коли мысль не выражает действительности, надо изменить мысль или хотя бы ее уточнить. Или изменить действительность. На то и человек, чтобы знать, что нужно делать. Ибо мысли можно служить лишь до тех пор, пока она служит человеку». «...Замечательны мошенничества и обманы, сохраняющие в потоке истории имена не только святых, но и прохвостов, имена доблестных героев и мерзавцев, имена благодетелей и воров, героев и предателей, а вот имена обыкновенных, самых обыкновенных людей, что никогда не помышляли стать святыми или героями, предаются забвению, после них остаются щели, ужасно много щелей, которые мы ловки затыкать словами: рабы, солдаты, крепостные, крестьяне, рабочий класс. Имя крестьянина, что тысячу лет назад выращивал хлеб, неведомо нам, но имя того, кто хлеб этот грабил или губил мечом и дубиной, блещет во всей красе, и горе тому школьнику, который его не запомнит!»

Именно такие «самые обыкновенные люди» и находятся в центре внимания Шикеры, не раз подчеркивающего, что в описываемой им местности не было тогда героев. Писатель вывел на страницы трилогии неприметных, «негероических» участников антифашистского Сопротивления и показал, какой «будничный» героизм требовался порой от тех, кто

непосредственно не участвовал в вооруженной борьбе с врагом. Ему удалось найти оригинальный ракурс изображения, что позволило внести немало свежих штрихов в ту коллективную картину восстания, которая создается искусством Словакии.

Усилия расширить географию Словацкого национального восстания и сделать более разнообразной галерею его участников были продолжены В. Шикулой в повести «Солдат». По признанию автора, образ ее главного героя возник еще в процессе работы над трилогией, но не вписался туда, а вырос в самостоятельную фигуру со своей сложной судьбой.

То, что повесть эта выкристаллизовалась из «Мастеров», ощущается в ее художественной ткани. Во второй и третьей частях трилогии весьма значительная роль как повествователю отводится мальчику Рудко. В одной из начальных глав «Герани» сообщается: «То был соседский мальчонка Рудко. Да, это был я. Хотите, можете звать меня Рудко, правда, теперь я уже гораздо старше и едва ли заслуживаю такого ласкового обращения. А тогда я и правда был Рудко, что поделаешь?» Стилистическое своеобразие трилогии в немалой степени обусловлено как раз введением этого автобиографического персонажа. Когда ему передается функция рассказчика, это позволяет не только достичь большей доверительности интонации, но и показать многие события в двух планах — в «тогдашнем» детском восприятии и в оценке «теперешнего» взрослого сознания, обогащенного знаниями и опытом. В прологе «Солдата» тоже звучит голос этого alter ego автора, доносящийся из оккупированной войной страны детства.

Как и трилогия, повесть изощренно «оркестрована». Вполне уместно, пожалуй, применить здесь такой термин, ибо стихия музыки пронизывает все книги Шикулы; он часто соблюдает музыкальные принципы построения произведения, для него чрезвычайно много значит мелодика фразы. В этом нет ничего удивительного — ведь он окончил консерваторию и признается: «Когда я пишу, во мне никогда не умирает и моя прошлая профессия: нет-нет да и примешает-

ся к словам мелодия, но бывает и наоборот — сначала приходит мелодия, а потом уж я подыскиваю к ней слова; сколько раз мелодия была для меня речкой, несущей слова, диктующей и ритм». А потом добавляет: «Писатель всегда ведет свое произведение к великой или хотя бы большой правде. И вот когда он мучается над своей книгой, когда он ищет слова, составляя их так и этак, ощупывает их и вслушивается в них, не забывая при этом о ритме, то еще прекраснее начинает звучать та правда, которую он хочет выразить. Читателю вовсе не нужно этого замечать. Ведь когда мы идем в концерт, каждому слушателю не нужно иметь перед собой партитуру, однако писатель, как и композитор, должен работать так, будто все люди в партитуре разбираются».

Партитура «Солдата» довольно сложна, несмотря на кажущуюся простоту и камерность произведения. В ней слышны, в частности, отзвуки словацких народных песен, которые приводили в восхищение собиравшего их прославленного венгерского композитора Белу Бартока (он, кстати, выступает в повести как действующее лицо) и которые так любит сам В. Шидула. Фольклорная струя вообще весьма сильна в этой повести. С детства наша память хранит не только печальную андерсеновскую историю стойкого оловянного солдатика, но и многочисленные славянские сказки о служивых, которые могут и барина проучить, и нечистую силу заставить на себя поработать, и выпутаться из любого затруднительного положения. Отголоски этих сказок, равно как и преданий о нищих, каликах перехожих также вобрал в себя образный строй «Солдата».

Дюрис—Коко—Мартиненго безусловно наделен привлекательными чертами народного характера, однако это далеко не идеальный герой. От природы он нрава веселого и не привык унывать, несмотря на все удары судьбы. В двенадцать лет оставшись сиротой, в четырнадцать брошенный в самостоятельное плавание по морю житейскому, герой Шидулы, что называется,— тертый калач. Он и мир достаточно повидал и занятий перепробовал немало: был подпаском, крутил-

ся среди пожарных, в Вене подметал улицы, стал почтарем, потом угодил в армию императора Франца-Иосифа. Бравый солдат Дюрис и тут не растерялся — не хуже Швейка быстро приспособился к воинской службе, которая не слишком обременяла его. Был произведен даже в унтеры, схлопотал пару «железок» — отличий, у него появилась в Вене своя Лили Марлен.

Поначалу может даже показаться, что это балагур и пройдоха, как бы перекочевавший в XX столетие со страниц плутовского романа прошлых веков, новоявленный «пример бродяг и зеркало мошенников». Что ж, родословная литературных героев зачастую очень запутана, — кто знает, может, по боковой линии она и восходит в данном случае так далеко? Впрочем, не вызывает сомнений, что своей единственной ногой, но крепко, по-солдатски, Дюрис стоит на родной словацкой почве, и вложены в этот неоднородный образ прежде всего конкретные жизненные наблюдения автора, его напряженные раздумья над национальной историей, столь тесно переплетающейся с историей всемирной.

Конец достаточно беззаботной жизни Дюриса, подумывавшего уже и о женитьбе, положил выстрел Гаврило Принципа в Сараеве. Грянула первая мировая война — на ней Коко заработал несколько орденов, но потерял в Италии ногу.

Инвалидом возвращается он в родные края. Но и тут у него — ни кола ни двора. Дорога научила ходить на костылях, и начинаются его бесконечные скитания из деревни в деревню, из городка в городок. Добрые люди не дают умереть с голоду, да и помогают собственное неистощимое жизнелюбие, нахрапистость, которую порождает нужда, умение «жарить в рифму».

Война отняла у него ногу, но не здравый смысл. Он нищ, но не духом: недаром постоянно напоминает себе и другим: «Я не просто нищий, я солдат». Дюрис оказывается «на дне» жизни, однако с такой точки обзора ему, человеку бывалому, прошедшему суровые «университеты» сиротства и войны, открывается очень многое в окружающей действительности. И он пользуется тем состраданием и своеобразным почетом,

которым испокон веку окружены в сердобольном народе калеки и нищие, чтобы не только половчее выпрашивать подавание, но и выкрикивать голодным горлом людям в глаза правду — порой весьма горькую.

За два с половиной десятилетия, что проковылял на костылях Дюрис, свершились многие события, которые потрясли мир. С запозданием, но дошли до него слухи об Октябрьской революции, о Крагуевацком мятеже вернувшихся из плена словацких солдат. Получила независимость буржуазная Чехословакия и утратила ее через двадцать лет в Мюнхене. Поднял голову в Германии гитлеризм, образовалось профашистское «независимое Словацкое государство», разразилась уже вторая на веку Дюриса мировая война.

Шикула мастерски показывает, как преломлялись все эти события в народном сознании. Его герой — не пария, не изгой, а пусть малая, но частица народа. Искусная недосказанность, тонкие ассоциативные ходы позволяют писателю воспроизводить сложнейшие внутренние переживания своего персонажа, передавать читателю сильный эмоциональный заряд. Если «Мастера» — широкое эпическое полотно, то «Солдат» — небольшой по размерам этюд, но выполненный столь же талантливой кистью, которая сумела выразительными чертами наметить и исторический фон действия.

Автор ведет свое повествование к большой правде об эпохе. От страницы к странице, словно кровь на повязках раненого, все яснее проступает антивоенная, антифашистская направленность произведения, достигающая кульминации в финале. Шикуловская проза, отражающая видение мира художником, представляет собой сплав различных, нередко противоречивых начал. Так, элементы гротеска заметны в описании эпизодов первой мировой войны, где обнажается ее бесчеловеческая сущность и одновременно достоверно передается ее запах, когда перемешались пороховая гарь, трупный смрад, вонь пота и ласкающий ноздри оголодавшего пехотинца аромат походной кухни.

Опустившийся, уже почти потерявший человеческое достоинство, Дюрис вновь обретает его и солдатскую честь в

протесте против фашистских зверств. Страшным потрясением стал для него расстрел оккупантами двенадцати мирных жителей, среди которых были и женщины. Оказавшись случайно свидетелем этой расправы, старый солдат словно услышал в душе зовущий на бой сигнал трубы и барабанную дробь. Но что может он, беспомощный инвалид? Втайне трусая, отвести душу и разъярить привычным зубоскальством фашистского майора — только и всего. Однако с этого момента начинается его восхождение на Голгофу. Мученическая смерть ни в чем не повинного солдата осеняется ореолом притчи. Перед тем, как ему накинули петлю на шею, пел легендарный разбойник Яношик, чтобы позлить врагов. И шикуловскому солдату приходит на память лирическая песня Шуберта при виде липы, на которой его готовятся повесить. Сцена в корчме, когда майор запускает в Дюриса недоеденной рыбой, а тот в ответ швыряет кота, да и сцена казни окрашены несколько комически. Однако такая окраска отнюдь не снижает трагического накала происходящего, когда ничем не защищенный человек вступает в борьбу за себя и за своих близких против бездушной фашистской машины уничтожения.

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед...

Н. Тихонов

И старый солдат делает этот шаг, одерживая нравственную победу над своими палачами. В заключительном аккорде повести слышится гимн безумству храбрых, павших за правое дело.

«Я верю в победу добра и прекрасного, ибо оно бесконечно, бессмертно, оно передается от поколения к поколению, как слово или улыбка,— говорит Винцент Шикла.— Добро не умирает, смертна только ненависть». Об этом и его повесть «Солдат».

Святослав Бэлза

Знавал я одного старого солдата. И он, конечно, знал меня. Заглядывал в нашу деревню не менее трех-четырёх раз в год, и я, завидев его или прослышав о нем, бегом бежал к нему и обычно обходил с ним все улицы, останавливаясь возле каждого дома. И представить себе не можете, как он мне нравился.

Пожалуй, он тоже ко мне привязался. А может, и в других деревнях он знал и любил немало мальчишек, что не уставали ходить за ним и, подолгу выстаивая рядом, глаз с него не спускали, слушали во все уши. Но я, верно, потому о нем вспоминаю, что в те поры в кладовке у нас ничегошеньки не было.

А впрочем, было. Была там печка. Хорошая печка. Была она в кладовке, скорей в кладовочке, кладовочка в кухне, а кухонька в горнице. У нас все было вместе. И на этой самой печке иной раз появлялся даже горшок, и отец с мамой, когда порознь, когда вместе — нас было уже двенадцать — стояли обыкновенно чуть в сторонке, чтобы при надобности сподручней было дотянуться до нас, сподручней подзатыльник отвесить. А мы все время этот горшок обнюхивали. Нас с родителями было четырнадцать, и к горшку, хоть это и был большой, справедливый горшок, подступиться было не так-то просто.

Мама нет-нет да и спрашивала:

— Пахнет?

А мы лишь носами поводили:

— Пахнет, только чуть-чуть.

Наш отец был мягкого нрава. Но и представляться был горазд. Чтоб тоска не заела, обычно отгонял ее смехом. А то иной раз скажет:

— Ну-ка ступайте отодвиньте вьюшки. Откройте заслонку! Будет тяга в трубе получше — огонь вовсю разгорится, и в горшке враз забулькает, глядишь, погуще запахнет.

Мама сердилась:

— Дурень! А чему пахнуть? Что будет там пахнуть?

— Ну, горшок.

— Разве что горшок! Хочешь, чтоб пахло, так сперва чего-нибудь в горшок положи.

И тут же вспыхивала свара.

А как-то раз отец — он уже долгое время не мог найти работу — рассердился пуще мамы да как хватит кулаком по столу:

— Пропади все пропадом, ежели положить нечего, откуда же мне взять?!

И тут — не то господь бог, не то черт его туда подбросил — из-под нашего стола выкатился пятак.

Отец сперва рассмеялся, увидев пятак, потом поднял его. Уставился прямо на меня и говорит весело:

— Вот тебе пятак, ступай купи уксусу!

И я бегу, ног под собой не чую. Богом клянусь, с пятаком в руке я сумел бы за день, за два обежать этот шарик, что вместе с нами или под нами вертится. Только плавать меня не заставляйте!

Бегу это я с пятаком, а на улице — хотя до этого было ясное небо — вдруг сильно-сильно и весело припустил дождь. На дороге и в канавках, повсюду, куда ни глянь, воды — пруд пруди, и ее прибывает все больше и больше, капли хлопают и шлепают, kloчочут и бормочут, шуршат и журчат, одна брызгами разлетается на мокром песке, другая на воде кружочком расходится. А поскольку моя денежка так негаданно выкатилась из-под стола, мне стало казаться, что и тут предо мной выкатываются пятачки. И сколько их, мамочки мои! Ей-ей, все эти кружочки оборачиваются в пятачки, в кроны и металлические пятикронки. Есть среди них и такие большие, тяжелые, знаете, эти самые юбилейные, которым всякий порадует, да разве что на одну-две минутки. Они, пожалуй, обеспечены золотом, хоть сами-то им почти и не

пахнут. Я тогда летел в лавку за уксусом всего с одним пятакom, но лил такой дождь и вокруг меня было столько денег, что вдруг этот пятак из руки у меня выскочил, и я лишь понапрасну озираясь по сторонам. Где он, куда запропастился? Куда отскочил? Как его теперь найти? Вокруг меня денег не перечесть, и только мой пятак, что выкатился из-под нашего растрескавшегося стола и на который можно купить в лавке уксусу, нипочем не найти.

Я воротился домой, отец выдрал меня, снова выгнал на улицу. И как раз в ту минуту, когда я с плачем выходил со двора, повстречался мне этот солдат. Он был промокший до нитки, но шагал браво и весело, как только он один и умел шагать, и пел, верней, горланил на всю улицу.

Увидев, что я плачу, он остановился на миг и, перестав петь, спросил меня:

— Что-нибудь стряслось?

— Пятак потерял.

— Пятак? А как?

— Выскочил у меня из руки.

— Вон оно что! А звякнул?

— Не знаю. Вроде бы звякнул.

— Вроде бы? Хе-хе-хе! — загоготал он. — Раз не знаешь, малец, звякнул ли пятак, лучше не ищи — зря все, пятака своего, почитай, никогда не найдешь. — Потом, округлив губы, изобразил звук горна: — Трам-па-па-а! — И снова с песней зашагал далее.

Конечно, на этом дело не кончилось. Встречал я его и потом или просто ходил к нему. Раза два видел его в Мариатале, раз, кажется, в Шаштине*, и всегда вокруг него стоял гвалт, народ толпой валил к нему, но самые набожные странники — а среди них попадались и бывшие солдаты, — случалось, и возмущались им. А стоило этому человеку заметить меня, представляете, он всегда про тот пятак поминал. Сразу же узнавал меня и всякий раз кричал:

* Мариатал, Шаштин — места паломничества католиков. (Здесь и далее — примечания переводчика.)

— Ну как? Звякнул?

И я всегда с улыбкой ему поддакивал; при этом обычно подымал палец и ни разу не спутался — не вытянул вместо одного пальца два.

— Звякнул. Но только раз.

И он, рассмеявшись в голос, снова принимался покрикивать на людей, а нередко и вправду так выразительно, что иные странники из-за него отказывались ходить на богомолье. А какие — опять же из самых набожных — грозились во всеуслышание:

— Ноги моей больше там никогда не будет, уж лучше молиться не стану. А захочу помолиться, вместо Мариатала или Шаштина аж до Левочи дойду, а то и до Польши, до самой Ченстоховы или Велички*, хотя бы увижу белый храм глубоко под землей, в котором я еще не был, белый соляной храм, белый, как мрамор, чистый, как кристалл; преклоню пред алтарем колени, а буду один, если уж один буду стоять пред алтарем на коленях, может, слезу пролью, слезу и по здешним христианам.

Но все это было давным-давно. Иначе я, пожалуй, и не рассказывал бы. Солдат, о котором идет речь, наверняка был и в Польше.

Когда я увидел его первый раз, на нем была еще австрийская военная фуражка. Позже встречал я его то в этой старой фуражке, то в пилотке. А уж потом хаживал он в черной залоснившейся шляпе — кто его знает почему, должно быть, обе шапки, и фуражка и пилотка, поистрепались за это время, да и не только они, поистрепал он и больше шапок, конечно, куда больше. Да что с того! Были у него и ордена. Все — с первой мировой войны. Два ордена, что казались ему особенно важными, он носил на груди, а остальные были приколоты к этой залоснившейся шляпе.

Разговаривая, он обыкновенно размахивал руками, но захоти я поточней описать, как он это делал, да еще передать

* В польской Величке в соляных коях (XI в.) вырублен великолепный костел, весь выполненный из соли.

слова, которые из него так и сыпались, то едва ли попал бы в самую точку. Я уже не раз было пробовал, да на бумаге все по-другому получается. Всякий раз мне казалось, что фразы я вроде случайно набрасывал — впрочем, он тоже так делал, — но правильно выстроить их или чем-то заменить, хотя многие фразы я помню в точности, мне никак не удавалось — ускользало от меня что-то самое важное.

А он еще и играл при этом. Часто перед ним лежала его широкополая шляпа, а в ней всего лишь несколько медяков, но он умел с ними вытворять всякие фокусы и заманивать прохожих. Время от времени он и покрикивал... я и сейчас, должно быть, не смог бы изобразить, как это у него получалось, до сих пор все не решаюсь с ним тягаться, а впрочем, может, еще попробую... Или же пускай он попробует, пускай он сам попробует говорить!

Пятак звякнул о пятак, и пяточки запели — взвеселились, что земля без начала, без конца. Будь гитара, мандолина, пел бы я, трам-та-ра, что шляпа у меня полна, а если в шляпе ничего, так есть над шляпой кое-что. Гляньте, люди божии, одной, другой рукой играю, левой, правой, трам-та-ра!

Пережил я тыщу войн и еще охота жить, я ничем не занимаюсь, только по миру шатаюсь, коплю, собираюсь, богу молюсь, пока не сопьюсь...

Где моя гитара, где вы, мои струны, трень-брень, трам-та-ра, что хочу, то будет. Моя молодость прошла, я остался без гроша, трам-та-ра, коли нет у вас ума, гляньте, люди, на меня, трень-брень, трам-та-ра...

Был солдатом отродясь, жил, болванов не страшась, трень-брень, трам-та-ра. В Вене или в Будапеште драил сапоги до блеска, и фуражку я носил, на прогулку выходил, левой, правой, ать-два.

Бывало, как сегодня, бродил я где угодно, трень-брень, трам-та-ра, левой, правой, ать-два, солдат потопал из казармы — Лили Марлен* перед глазами.

* Лили Марлен — героиня известного шлягера времен первой мировой войны. Песня о девушке, ожидавшей у ворот казармы возлюбленного.

Шагаем с нею рядом. Трень-брень, трам-та-ра! Идем по Вене. И вдруг светлица — ну точь-в-точь как в небылице, а в светлице — постелька, трам-та-ра, песня запеваётся, вечер у солдатики ранехонько кончается. А светлица, точно в небылице, постелька в ней качается, парень улыбаётся: эх, не забрали бы в солдаты, стал бы я поэтом знатным. Но вдруг труба: трам-та-ра! «Чего боишься, пехтура?» — спрашивает Лили Марлен. «Прошу пардону, моя дама, ждет солдатики казарма!»

Тебе скажут: сын, вперед! Отчизна-мать давно зовет, трень-брень, трам-та-ра, ступай на бойню, уж пора, левой, правой, ать-два... Ну а с поля одного на другое поле, топаешь к Тарнополю* волею-неволей, а оттуда, как барана, уж на третье поле брани — левой, правой, трам-та-ра! Липтов знаешь, Турец** знаешь, но домой не убегаешь. Дальше Зальцбург, Пешт и Вена, только пикни: «Не пойду!» — сразу заорут: «Измена!»

Трам-та-ра! Идет солдатик по полю, эй, кашевар, эй, кофею налей!

Я под тем Тарнополем долго мок под топодем, много было тополей, да под каждым дуралей.

Прошел я Ровно, узнал и Ковно, да все равно — везде г...

Идет солдатик по полю: эй, кашевар, эй, кофею налей!

Молод был, стихами сыпал, грубыми и нежными, а теперь не прежний ты — уж не байка, лишь бы пайка: хлеба кусок, кофея глоток.

Маршируешь вновь и снова, а повсюду ты не дома.

Луга, леса, поля и реки. Болота, топи. Кусты и пашни.

И все не наше. Ну так чье?

А теперь оно ничье.

Маршируешь. Ноют ноги.

Толай дале, пентях убогий!

Маршируешь. Эй-эй, кашевар, кофею налей!

Налил рому? Ратному быть грому! Задница и то у тебя за-

* Ныне г. Тернополь (УССР).

** Имеются в виду Липтовский и Турчанский (ныне Мартинский) округа в Средней Словакии.

дрожит! Черт ее возьми, напустит в штаны со страху, а как пойдешь в атаку, знаешь, какой еще фортель она выкинет? Трам-та-ра! Собственная задница подкузьмит, куда тут парню деваться, где и когда ему постираться? Бежишь, несешься, как из пушки, глядь, перед тобой избушка! Ты в избушку! Стой, из нее палят! Рванешь в другую сторону, а потом ползешь, вокруг тебя повсюду гудит и шуршит, нажрешься земли, господи, помоги, куда скрыться, во что головой зарыться? Ну а конец атаки — задницу поднимаешь да рта не открываешь. Зачем? Хвалиться-то тебе чем? Дальше со всеми идешь, а в штанах смрад свой несешь. Эй, кашевар, эй, еще чуток налей! Где же кашевар, черт бы его расшвырял!

Шарахнуло его, сам видел. Он только зубы сжал и тут же по башке схлопотал.

Зима, холод. Всюду голод.

Но я солдат. Липтов знаю. Турец знаю, ан никуда не убегаю. Некуда и незачем бежать, мне ведь будет мир принадлежать! Ха-ха-ха, до чего в альпийских реках вода хороша.

Знаю Вену, Пешт и Прагу... Нет, теперь туда ни шагу! Чего я там не видал? А вот в Берлине еще не бывал. И в Гамбурге тоже. А когда-то я считал, что в Гамбурге гам стоит, потому как там «в бор», в долг, деньги дают, вот и надумал я наведаться туда, собирался даже сесть на пароход — и в Америку в поход, спокон веку говорили, что в Америке благодать — жалко умирать. Хотелось и мне на Америку поглядеть, немного долларов заиметь и опять податься назад. Мир велик, Америка, кукареку, кукареку, привет, Америка, привет, мне принадлежит весь свет.

Только ведь я солдат, вдруг сразу оказался солдатом, пан император подмигнул мне, жил я тогда дома, в Турце, но он меня аж там углядел и мигнул мне: «А ну давай-ка сюда!» Дурья башка, и чего я раньше в эту Америку не смылся? Получил я военную форму, а как износил ее, выдали мне другую и еще объявили, что теперь я унтер-офицер и если буду дальше усердствовать, то и фуражку с блестящим козырьком получу. А фуражка, особенно в городе на прогулке, сами

знаете, солдату к лицу. Эх, фуражку надевал я для милашки! Скольких я знал девушек в Словакии, Моравии, Вене! Иные, может, думают, что эта девушка, эта Лили Марлен, что стояла под фонарем у казарменных ворот, была немка. Будто в других местах казарм не было! Черт возьми, я и впрямь знал ее. И была она австриячка. Повстречал я ее в Вене. Хотя и не у казарменных ворот, но и не так, чтобы далеко от них. Погуляли мы немного с той девицей, а потом пошли в светлицу, хотя на самом-то деле это был дом, просто, когда я марширую, иной раз даже на месте, я обожаю петь, и обычно какую-нибудь походную песню. А порой и петь мне не обязательно, и маршировать тоже, для меня, понимаете, самое главное — ритм.

Дело-то вот какое: ног у меня нету — одной начисто, а другая вроде бы и есть, да совсем никудышная, лишился я их в первую мировую. Давно собираюсь сказать об этом, да только, когда маршируешь и хочется все разом выпалить, многое забываешь или оно из ритма как-то выпадает, а ритм этот мне позарез нужен, с ним и разговориться, и распеться куда легче. И конечно, маршировать веселей, ну а коли дело ладится, коли я и правда попал в ритм, черт возьми, я так разгорланюсь, что все, как есть, выкричу, да еще кое-где оно у меня и рифмуется. Подброшу, к примеру, пятак, ну а ежели раза два-три подбросить, да не один, а несколько пятаков — у меня в этом деле сноровка, пятаки ловко подбрасываю, — тогда и вовсе они звонко дзинькают и сверкают, и все, как полагается, в ритме, потому что я над шляпой еще и рукой равномерно взмахиваю. А как разорусь, тогда мне пятаки и не требуются, подставляю шляпу — пускай туда падают, либо я сам их туда брякну, а уж потом горланю, горланю, знай глотку надсаживаю. А бывает, и не могу распеться, никак в ритм не войду — хочу думать только о пятаках, а тут вдруг упадет какой, я и сбиваюсь, а то вовсе рассержусь.

Однако ж солдату без ритма зарез. В казарме-то почему вечно упражняются, кричат и вопят? Да чтоб дело по всей форме клеилось. Ну а на марше, особенно при церемониальном марше, все должно идти точно, как по часам. Пусть это

и не очень ловкое сравнение, часы же только тикают, значит, часы должны быть огромными. Этакие часищи! Каждой казарме полагалось бы иметь такие громадные куранты, а то и большущий метроном, железную звонницу или кафедральный собор, да и тот разве только затем, чтобы тикать, верней, греметь, пусть медленнее, чем часы, зато куда мощнее, — в казарме непременно должно происходить такое небольшое землетрясение. Ну а вокруг этой железной звонницы или собора, вокруг этого метронома, этого стального гудящего чудища, и солдат следовало бы муштровать. Чтоб каждому солдату ритм вошел в плоть и в кровь. Он должен быть в крови у человека. Ведь ежели солдат не умеет держать шаг, ежели его правая и левая нога не топает в лад с правыми и левыми ногами других — правая с правой, левая с левой, — в отделении, глядишь, и кутерьма подымется. Пойдешь не с той ноги, так тот, кто шагает позади тебя, наступит тебе на пятку, а ежели ты обут в дрянные сапоги, то с одного из них может тебе и подпятник оторвать. А иной спутается, подумает, что это он шагает не в ногу, сбился с шагу, и тогда в отделении начинается толчея, солдаты смотрят друг другу на ноги, чертыхаются, правда, тихонько, чтобы командир не расслышал, — а все равно шаг уже ни к черту не годится, в казарме уж тут ни складу ни ладу. Иной раз и я сбиваюсь — пятаки роняю, но ритм у меня в крови, да и не будь в крови, на пятку мне уже никто не наступит (по счастью, у меня и пальцев нет), да и подпятник не оторвет. Однако не думайте, что я плачусь в жилетку! Я теперь и без ног обхожусь, ловок и на костылях шагать, а коли угодно, могу и на одном месте топать, ибо солдат и это должен уметь. Но известно ли вам, как иные солдаты, хоть и о двух ногах, а на месте хреново топают? Навидался я всяких солдат. И наших, и чужих. Неохота только в это особо вдаваться, потому как на фронте, в ту первую войну, всех нас неведомо как перемешали. И в нашем батальоне та же история: один был из Ланжгота, другой из Лозорна, двое из Мархега, кто из самой Вены, а один мой товарищ, что ходил со мной — в особенности поначалу — на прогулки, и в атаке тоже старался держаться

меня, хотя я был уже унтером, а он все еще простым солдатом, я был рядом и в его последний час, видит бог, шлепнуло его прямо в голову, уж и не припомню, как его звали, но знаю, что до войны он служил кучером, — так тот родом был из Берексека*. Сколько их там было и кого только не было, с иными и столкнуться было нельзя. Ну а среди них и я аж с самого Турца, хотя некоторые и думали, что я родом из Вены, впрочем, я и сам не знал, как среди них очутился. Наверно, потому, что я уже сызмала старался, должен был внушить себе, что мне принадлежит весь свет. И он-таки принадлежал мне. Ха-ха! И до сих пор принадлежит. Замечу, однако, что многие наши, с которыми мы вместе воевали, после войны оказались уже не нашими. Многие товарищи, и тот из Берексека, да и многие, что сложили головы, едва ли могли допустить, что монархия, ради которой мы, точно свиньи, кидались из края в край, из схватки в схватку, оголодавшие, иззябшие, завшивленные, все равно после войны развалится... Н-да, я и сам не семи пядей во лбу. Но все равно я когда-то все иначе себе рисовал.

Родился я в Турце, но еще до действительной у меня ничего не осталось. Отца я путем даже не знал, еще до первой войны он уехал в Америку, поехал туда подработать, да засыпало его в шахте, не знаю и где. Матушка померла, когда мне было двенадцать, а уж потом я все скитался по свету. Без малого два года жил у священника, голодать-то вроде не голодал, он даже неплохо ко мне относился, сперва и вовсе поговаривал, что отдаст меня в ученье, я, похоже, все книги тогда прочел в приходской библиотеке, проглотил и те, которые он мне не советовал или попросту запрещал, но потом, сам не знаю отчего, опротивел ему. А может, только его жене. Был он евангелический священник, и дети у него свои были. Не знал, что и делать со мной. С ученьем, видать, раздумал, слишком дорогим, что ли, казалось ему это удовольствие. Как-никак я чужой был ему. Но простился он со мной хорошо, купил мне новое платье, хотя и старое было еще вполне

* Перечисляются деревни, расположенные в разных уголках тогдашней Австро-Венгрии — в Моравии, Словакии, Австрии, Венгрии.

сносное, дал мне даже на первое время несколько грошей, ну и я — идти-то мне было некуда, дома у нас не было, мы с мамой и прежде-то скитались по чужим углам — пошел, куда ноги несли; жизнь принимал я легко, благо от природы был нрава веселого, и до поры считал себя взрослым, было у меня два платья, одно совсем новое, и даже немного денег в кармане. Думал я: нет у тебя дома, так возьми и выстрой, возьми и ночуй, где душа пожелает! Много ли молодому человеку надо? А у меня тогда еще и крылья были!

Поначалу я что ни ночь располагался в другом месте, и всякий раз мне казалось, что ночую я у добрых людей. Дни у меня были свободные, и сам я был свободен, волен, как птица, улыбался всему свету, а весь свет улыбался мне. Только вот грошиков, что дал мне священник, поубавилось. И вдруг улыбка стала мне не к лицу. Иные люди даже не преминут намекнуть тебе об этом, а то и не таясь скажут, что такому человеку, у которого ни гроша за душой и который нигде не работает, вовсе не к лицу улыбаться. А то и хуже: наступает вечер, и ты собираешься пойти спать к добрым людям, ты ведь у них уже ночевал, и вдруг даже добрые люди дают тебе понять, что не любят частых гостей, а главное, таких ночлежников, у которых все время урчит в животе. А чуткому-то человеку достаточно только намек — и ты уже вежливо и неприметно уходишь, раздумывая над тем, не попытать ли счастья в другом месте, только вот не знаешь, что выбрать, на чем остановиться.

Вообрази, что тебе лет двенадцать — четырнадцать и что ты действительно один-одинехонек на всем белом свете. Спать и то негде. Вот и попеняешь священнику: хорош же пастор! Не мог позволить подольше в приходе пожить? Трудно ему было получше обо мне позаботиться? У него я мог хотя бы как следует выспаться, подкрепиться, и из меня, глядишь, получился бы вполне хороший, порядочный человек.

В конце концов ты отправляешься за околицу, находишь сеновал, с минуту еще размышляешь, переодеться ли тебе или нет, ты же в новом платье, в новом-то приличней ходить,

но поскольку ты его постоянно таскаешь, тут уж, пожалуй, нет разницы, спишь в новом платье, а старое суешь под голову, спится тебе вроде довольно сладко, только вот под утро становится зябко. Подымаешься. Что делать? Ходишь вокруг сеновала, при ходьбе как будто и согреешься малость, но зачем ходить по кругу, айда лучше в деревню, но деревня еще десятый сон видит, стало быть, пошли дальше, идешь, идешь, по дороге нарвешь фруктов из чужого сада, жуешь себе не спеша и топаешь дальше, выходит солнце, и мир снова прекрасен. Впрочем, куда же тебя несет? Приходишь в город, да в тот же день сматываешься оттуда, непривычный ты к городу, ну и что? Куда теперь податься? Где заночевать? Про нужду закон не писан: станешь и нахрапистым.

Заходишь в пастушью хижину. Тебе еще повезло, что набрел на нее. Говоришь баче*, как на духу: «Не сердитесь, бача, я есть хочу, и денег ни гроша, даже спать негде». Бача оглядит тебя, а так как ты прилично одет, а может, и потому, что ты ему без утайки с самого начала все выложил, даст тебе поесть, а увидев, что совсем за вечерело, укажет и свободное местечко на нарах. Бача утром встает, овчары уже давно на ногах, встаешь и ты и начинаешь прикидывать, а не помочь ли им... спешить тебе некуда, ты остаешься у бачи, может, ты и помог бы ему, да испачкаться неохота и к тому же в его делах ты не очень-то согласишься. Правда, баче ты не мешаешь, похоже, он даже рад, что возле него крутишься, ведь порой и у пастухов в овчарне время тянется долго, если кто к ним пожалует, они потолкуют или хотя бы послушают, что нового на свете; вот и этот тоже — наверняка просто от скуки — расспрашивает тебя, а уж потом, когда сядет завтракать, и про тебя не забудет. После завтрака ты доволен, вполне сыт, обязанностей никаких, а уходить все равно не спешишь.

Зачем уходить, куда торопиться?

Весь день крутишься возле бачи, но не путаешься у него под ногами, и бача тебя терпит, только, поди, за обедом, а по-

* Старший овчар, пастух (словацк.).

том и за ужином немножко на тебя злобится: черт, корми тебя снова, хоть ты и не просишь. Дать-то он тебе даст, но про себя, верно, думает: «Ишь какой наглец и вымогатель». После ужина снова расспросы, ну а поскольку за словом в карман ты не лезешь и уж вчера немало ему нарасказывал, да и нынче за целый день успел всякого намотать, он знает о тебе едва ли не все. С ночлегом уже не артачится. Но на следующее утро, только ты проснулся, и он по всему видит, что ты в путь не собрался, тут же запрягает тебя в работу. Проходит день, другой, ты помогаешь баче, а сам и в толк не возьмешь, что он попросту подрядил тебя в работники. Временами, правда, настораживаешься и тревожно озираешься: когда же он прогонит меня? Почему он меня еще терпит?

Случается, кое-кто приходит в овчарню, просит у бачи жинчицы*, а то и домой прихватывает, но ты с этими людьми не знаком, тебе и дела нету до них. Но однажды, когда ты, к примеру, загоняешь овец в кошару или стойбище, приходит какой-то пожилой человек и, тоже помогая загонять овец, между делом калякает с бачей, а так как он, видимо, крестьянин и приятель бачи, им явно есть о чем потолковать. Но мужик этот говорит громче обычного: то ли он с глушинкой, то ли звяканье ботал перекричать хочет.

— Это у тебя что за парнишка?— спрашивает он бачу.

А поскольку я — о ком бы еще я мог так долго распространяться — стою довольно далеко, то вострую ухо, понимая прекрасно, что речь обо мне.

Ответа приходится чуть подождать. Но потом бача отвечает так, будто оно само собой разумеется:

— Подпасок.

И, немного помедлив, добавляет:

— Взял его. Сперва все мотался тут, идти было некуда. Бедный мальчонка. Сирота. Священник его вырастил. И неплохой вроде. Да вот, думаю, кормить тебя задарма не стану. Взял его в подпаски. Только на одно лето. Подпаска-то в деревне немудрено найти. Эва сколько их просится.

* Напиток из овечьего молока.

Стал я, выходит, подпаском. Жил в хижине, где днем и ночью было дымно, а если б и не было, от меня самого достаточно несло дымом — я им насквозь пропах. Посейчас его чую. А может, и другие чуют и еще долго будут чуют. Ну а в хижине дымило, в котелке или в котле варилась из овечьего молока жинчица. Если я поминаю жинчицу, то это вовсе не значит, что в хижине нельзя и чем-то иным полакомиться. Например, галушками или заправленной жинчицей фасолью из котелка, который всегда пах бараниной, хотя баранины или какого другого мяса я никогда в нем не видел. Редко какому бедняку в Турце, пусть это и пастушеский край, знаком вкус бараньего огузка. Но зато многие знали, что из баранины также можно приготовить студень и что все его любят, хотя и называют везде по-разному: в Липтове, к примеру, говорят просто «холодное». Поэтому в Турце для этого холодного, или же студня, люди чего только не выискивают, ну а у кого под рукой баран — делают его из барана. Иные, может, только из копытцев, из ножек. Студень — старинное славянское кушанье. Ведь и в России, а Россию турчане знали неплохо, люди варили, как и все славяне, — у них же было вдосталь скота, — варили студень, и он считался даже свадебным блюдом. Эх и жаль мне, что я не женился!

По воскресеньям в овчарне останавливалось больше народу, заворачивали и те, что шли из подгорных хуторов в церковь, бача давал им жинчицы, иные предпочитали сладкую, опасаясь, как бы от кислой не схватило их в церкви. Черпаки ополаскивали в воде — бача считал ее мягкой, потому что текла она с болотистой почвы и, пока овцы паслись на выгоне, бывала еще и чистой. По краям корытцев пенились белые пузырьки. Вода шла тонкой струйкой — не пойму даже, отчего в таком месте, где не хватало воды, овчарню поставили. Приходилось собирать ее в высокой кадке, откуда она медленно струилась в деревянные корытца — из них по вечерам пили овечки, когда подпаски снова пригоняли их с пастбища. И белый пес ко мне тоже привык. Хотя я и не был с ним таким ласковым, как бача или подпаски, должно быть,

подхода к нему не имел, но пес этот знал, что я из тех, кто никого не обидит.

Однако осенью, на Деметра*, бача отогнал овец в деревню, и я снова оказался свободен как птица, только вот куда полететь, не знал.

Монархия была велика. Ходил я из края в край, но что под силу такому сопляку? Пробовал и в ученики определиться, и не в одном каком-нибудь месте. Однажды уж было собрались взять меня, да вдруг мастер, когда я ответил ему на вопросы, кто я и откуда, почему один пришел, а не отец с матерью меня привели, брякнул, что ничего-то у нас с ним не получится, у него, дескать, доверия ко мне нет, так как поручиться за меня некому.

А для чего поручаться? Учиться-то заместо меня все равно никто не станет.

Мастер похлопал меня и сказал:

— Ступай-ка ты, паренек, своей дорогой, больно ты на свои годы дошлый, как я погляжу!

Ну что ж! Дошлый так дошлый. И впрямь не дураком был, умел читать, писать, считать и при надобности даже прилично, а то и благочестиво или смиренно вести себя, ведь я почти что два года жил у священника, и он собирался отдать меня даже в ученье, ей-богушки, я не растеряюсь!

Кем я только не работал! Сперва был просто мальчиком на посылках, позднее — слугой, потом — садовником в городском красивом саду, красивом до той поры, покуда я его не испортил (правда, со временем мои промашки кто-то подправил), несколько месяцев работал подметальщиком в том же городе, а летом ушел в деревню — нанялся в поместье на страду, вместо денег получил натурой — обмолотом, но поскольку я там не зевал, досталось мне в два раза больше. Что будешь делать? Если люди хотят тебя обдурить, то придется отвечать им тем же. Обмолот я продал и снова подался в город. Где мне удавалось подрядиться в подручные, где

* Дмитриев день, 26 октября.

опять был на побегушках, раза два подсоблял на стройке и даже целую зиму проработал в больнице — истопнику помогал; и опять служил я садовником, но в другом саду и уже малость получше, ведь в том первом я уже кой-чему научился, правда, мной все равно не были довольны; потом я опять пристроился слугой, даже скорее привратником, у довольно богатого и важного пана в городе, но он был глуп да и платил мало — уходя, я сказал ему, что он не только скупердяй, но и олух, сказал это и ушел в другой город, потому как такой глупый, важный и почтенный господин не дал бы мне житья и делал бы мне всякие пакости. Мне было все равно, где я, город он и есть город, много я знаю городов и много стран. Когда-то я все ходил, ходил и думал, что весь свет принадлежит мне, стоит только подбить сапоги подковками и — в путь-дорожку. Куда угодно, хоть на Северный полюс. А хотите, дойду до Каира, до Египта, Иерусалима, Назарета. Много ли мне нужно? Да ровно ничего. Посох, сандалии и соломенную шляпу! Не то повяжу голову каким-нибудь платком или шалью и стану походить в этих сандалиях да с посохом на святого Иосифа. А повстречайся мне там ненароком какой-нибудь болван путешественник, у которого денег куры не клюют и он не знает куда их девать, а я еще и умный вид на себя напущу, он и вправду может подумать, что так, верно, выглядел Иисус Христос. А почему бы и нет? Я улыбнусь ему, может, это его и порадует, а про себя подумаю: дурак ты набитый, я оттого улыбаюсь, что знаю — у Христа никогда не могло быть такого дурацкого вида, как у тебя. Мы разойдемся в разные стороны, свет принадлежит ему, у него полон карман, чтобы его весь исходить, только свет-то ведь и мой, потому мой, что у меня ничего за душой: иду, куда хочется, в любое место могу прийти задаром, хотя, может, там меня и ничем не одарят. Дурак для чего путешествует? Какой ему с этого прок? Только деньги растратит да людям в чужой стороне покажет, какой он придурок.

Право слово, наладился я и в Терст, и в Прагу, да и в эту Америку отцу поклониться, хотя и понятия не имею, где он голову сложил; я уж и дорогу продумал — как мне дешево

добраться до Гамбурга да и подработать в пути; еще до этого я свел знакомство с двумя толковыми железнодорожниками (один из них был прирожденный прохвост), поучился у них, а потом уж допер, что можно и без обману путешествовать. Дешево. Да еще подработать дорогой, причем честь по чести, прислужником, а в Гамбурге только протяни ладонь, и зазвякают в нее монеты или даже бумажки на ней зашуршат. Ну а пароход — эка важность, в Гамбурге пароходов навалом, если б и наскреб на билет, к чему деньгами швыряться? Да и зачем торопиться в эту Америку? Я нигде не пропадал, а в Гамбурге и вовсе не пропаду. Задержался бы сперва на день-другой, а то и подольше, ходил бы на пристань, осмотрелся бы вокруг и, само собой, подружился бы с матросами. Я же с людьми быстро схожусь, они ко мне враз сердцем прикипают, а уж когда узнают меня — иной раз могу им и такое сказать, чего они, должно быть, ни от кого другого и не стерпели бы. Потому что у меня нет привычки людей обижать, хотя кое-кому и может так подуматься, но на таких людей у меня нюх особый, я ведь умею и осторожничать, остерегаться, дурака-то сразу примечу, поклонюсь ему, поздороваюсь, а то и улыбнусь — тут важно угадать, что дураку от тебя нужно и что ему может польстить.

Не раз, богом клянусь, видел я себя в Гамбурге, и казалось мне, что друзей у меня там уйма и все зовут меня на пароход и предлагают матросскую тельняшку: вот тебе тельняшка, давай плыви в Америку — к отцу на могилку! И все гоготали вместе со мной, когда я им еще вот что сказал: как поклонюсь татке и заработаю доллар-другой — ведь кто знает, что на возвратном пути может с тобой приключиться, нелишне заработать доллар-другой, но все равно Америка меня не облапошит, я небось не дурак, кой-чего уже смыслю, тому, кто захочет меня околпачить, могу и сам показать, как это делается, — сяду на пароход и закричу, обсмею Америку, закукарекаю. Можно, конечно, и иным манером посмеяться над ней, по-другому изобидеть. Можно, да я не стану, знаю ведь, что и там живут обыкновенные люди и что где-то там похоронен мой отец. А вот кукарекнуть стоит! Для подлецов!

Кукареку, кукареку, кукареку-у-у! По меньшей мере раза три перед отъездом из Америки закукарекаю.

М-да. Только покамест Америка за тридевять земель от меня. Дошел я всего лишь до Прешпорка*. И пусть не приехал на поезде, а с вокзалом в первый же день познакомился. Правда, не совсем так, как можно было бы предположить. На железной дороге, а точнее, на главном вокзале вспыхнул ужасный пожар, ну а парнишке — ему незачем быть даже слишком любознательным — стоит заметить, что где-то горит, он мигом туда, увидит только, что люди куда-то бегут, и он уж с ними либо за ними, хотя не всякий, кто бежит к огню или за огнем, бежит, верно, потому, что собрался тушить его. Находятся и такие, что бегут лишь затем, чтобы похмыкать: Хм, да разве это огонь! А иных так и подмывает спросить, нельзя ли этот огонь-огонек раздуть как-нибудь. Но на сей раз в том, чтобы раздуть, и надобности не было — загорелись склады с горючим, и разом все так и запылало. А виноват в этом, говорили, был один рабочий, Йозеф Штефанко. Вот уж поистине бедолага! Сам-то он и думать не думал, что окажется таким неосторожным, с неосторожностью ему, видать, кто-то другой удружил, из склада якобы и раньше что-то текло, но всю вину свалили на него, на беднягу Штефанко, потому как он ничего не заметил или — уж ежели что-то текло — не потрудился языком полизать. С горючим держи ухо востро, ни-ни ходить возле него с огоньком, а тем паче пробовать огоньком, на самом ли деле это горючее. Видели бы вы это полымя! Штефанко убежал, дал деру еще до того, как огонь вовсю разгорелся, убежал и, говорят, сразу же, а может, и немного позднее... бедняга, уж как он боялся, господи боже, что будет, взял да со страху руки на себя наложил. А как этот пожар пылал, он, в общем-то уже и не видел.

Люди носились взад и вперед. Что делать? Что спасти раньше? Железнодорожники начисто потеряли голову. Рабочие метались, таскали глину, хотели ею огонь потушить,

* Прешпорок (Пресбург) — прежнее название Братиславы (с XIII в.).

но языки пламени делались все мощней, все ненасытнее, они облизывали все кругом, хлопали как полотнища, а дыму навалило столько, что сквозь него и видать не было, откуда может вылететь на тебя красный петух, не клюнет ли он тебя, куда опять вскочит, где еще взмахнет крыльями. На запасном пути стоял поезд, и вдруг там тоже запылало — в минуту загорелось двенадцать, тринадцать, а то и более вагонов. Занимается и другой склад, деревянные плахи и поперечины так и взлетают, одни как спички, другие как факелы, и разносят пламя все дальше и дальше, перекидывая его с места на место, и огонь разрастается.

— Пожарники, пожарники! Где же они, тушители? Ведь им бы уж тут надо быть, черт бы их побрал! Даже этой еврейской помпы* здесь нету?

— Чего уж! Разве помпой тут одолеешь?

— Черт возьми, шевелитесь, делайте что-нибудь! Бегайте, делайте что-нибудь! Все, все! Где телефон? Не едут еще? Пускай хоть что посоветуют! Еще раз позвоните! Отовсюду пусть едут! Всех пожарников сюда!

Но телефонная связь прервана. Деревянные железнодорожные вагоны, пожалуй, горят и пылают не так бурно, чуть потише, чем пропитанные маслом склады, которых вообще уже не видать, но все равно в вагонах, кроме масла, еще и бочки, прорва бочек, с керосином, с бензином, что ни минута какая-нибудь взрывается и сызнова подкармливает огонь; ведь на фабрику Бёкинга, производящую лак, не далее как сегодня доставили, в числе прочего, еще пять тысяч литров (или килограммов?) скипидара, короче — он тоже там, а стало быть, огонь еще покажет себя, станет еще страшнее, попытается еще смелей вспрыгнуть, а если ему поможет ветер, хотя и ветер ни к чему, мощный огонь и сам ловок ветер поднять, смотри, как он крепчает, ему есть с чего сил набираться, он, гляди, еще дальше перекинется, заберется

* В старой Братиславе у еврейской общины был свой собственный пожарный насос. Вообще в истории Братиславы пожарным отводится особая роль: они были в центре и светской жизни города — устраивали увеселения, балы, нередко посещаемые австро-венгерским императорским двором.

в такие места, какие менее дальновидный человек и вообразить себе не может.

— Пожарники! Пожарники! Наконец-то! Они уже здесь! Давайте-ка поживей! Сюда! Остальным посторониться!

Эге-ге, и вправду они! Дорогу им, дорогу!

Торопятся все, но впереди, конечно, командир и уже наперед взопревший. На голове, может только сегодня, как-то неловко сидит каска, но ему недосуг поправить ее, он таращит глаза на огонь, а огонь уж повсюду, командир повертывается к товарищам, должно быть, и с ними советуется, размахивая руками, благо приготовился отдавать приказания, впрочем, первые уже успел отдать. Остальные пожарники тоже наперед уже потные, вспотели еще по дороге, и размахивают руками точь-в-точь как их командир, а может, чуть иначе, словно командир им что-то протягивает, а им уже заранее известно, что с этим делать. А иные даже сердятся и громко ворчат, что их поздно позвали. Однако что-нибудь они непременно сделают, а то как же? Пожалуй, и спасут кое-что, даже из огня вытащат или хотя бы попытаются остановить пожар. У них тут две спасательные повозки, они бежали рядом, а то и впереди них, ведь оттого они так и пыhtят, что привезли на повозках, а кто в руках, на плечах, на поясах доволол всякие пожарные снасти, хотя кое-какие могут показаться и вовсе ненужными при пожаре.

Батюшки, к ним и другие спешат на подмогу! Тут уже и еврейские пожарники, ведь когда-то, дело известное, они всегда являлись со своим насосом первыми, и конечно, они и на сей раз могли бы раньше прибыть, да только вот знать ни о чем не знали и потому сердятся, что их никто не позвал; кто-то, дескать, просто поднял на улице крик, а уж потом и другие стали гомонить и разбудили все Подградье, Рыбную площадь, Выдрицу, весь город уже на ногах, ей-богу, видели люди, своими глазами видели, как еврейские пожарники умеют поторапливаться. Ну-ка, живо за дело!

Кирки! Лестницы! Нет, лестницы покуда в сторону! А эти вон, что прибыли первыми, они-то давно здесь, почему они тянут, почему до сих пор все волынят? У них же там гидрант

имеется, почему они возле него без дела болтаются? И впрямь, группка пожарных стоит возле железнодорожного гидранта. Но вдруг выясняется, что гидранты ни к черту не годятся — никак не насадить на них приставку, а стало быть, все, что есть сейчас здесь,— без всякого проку.

Кому тут нечего делать, пускай проваливает! Прибыли и солдаты, враз все разошлись-разбежались, помогают разгонять гражданских, обступают со всех сторон полымя и кирками, мотыгами, а при надобности и голыми руками не дают ему расползаться далее.

Кучка пожарников бежит с паровым насосом к Ламачу*, другие несутся в иную сторону — кричат, что бегут на Вокзальную.

Примчались на подмогу и пожарники с Превоза, из Карловой Веси и с динамитной фабрики. Вскорости кто-то из тех, что мчались к Ламачу, подсоединяет к гидранту приставку, насос начинает работать, по шлангу бежит вода, да и те, что возились с другим рукавом, также успели его развернуть,— вода бежит и с Вокзальной улицы. Однако с огнем все равно какое-то время, причем немалое время, по уши хватает работы, и довольно опасной работы...

— Это чей же паренек?

— А я почему знаю? Мотался тут. Еще до того, как солдаты отогнали зевак и тех, что под ногами путались, он замешался среди пожарников. Этот паренек, кажись, совсем ничего не боится! Гляньте-ка, как он лезет в огонь! Я дал ему каску, чтоб с ним чего не стряслось! А надо бы остеречь его: осторожно, парнишка, не будь таким смелым!..

Это был гигантский пожар. Я, пожалуй, мог бы о нем и больше порассказать, да нет охоты особо распространяться, в конце концов некоторые подробности и не имеют такого значения, да и невозможно, времени нет всегда все углядеть. Вы и глазом моргнуть не успеете, а огонь вас уже облизал, но даже это вам нипочем. Люди стоят, глаза пялят, а то иной раз кое-кем и восторгаются, но если вы хотите тушить по-настоящему, а не только восторгаться огнем или издали

* Прежде пригород Братиславы.

с любопытством глазеть на него, если вы уж полезли в огонь или хотя бы в смят и дым, в дыму-то ведь тоже изрядно печет, и даже если вы озираетесь, то едва ли для того, чтобы увидеть, любитесь ли вами кто и кивает ли одобрительно головой. Но одно несомненно! Этот парняга, что пришел тогда в сентябре чуть свет в Прешпорок и сразу же узнал, где главный вокзал, не оробел перед огнем; последил за пожарниками, увидел, что они делают, и тут же смекнул, что от него требуется: забегал, засуетился, помогал, творил возможное и невозможное, так бросался в огонь, навстречу огню, стараясь его загасить или хотя бы приглушить, что какой-то из братиславских пожарных одолжил ему каску,— ну а паренек этот был не кто иной, как я.

После полудня огонь удалось-таки с грехом пополам одолеть, но у пожарников хватило работы до самого вечера, даже еще и на ночь выставили мощную охрану. А я, когда уж было хотел воротить каску, только тогда заметил, что весь перемаранный, закоптелый, вонючий и мокрый. Где бы почиститься? Где умыться, где постирать свои вещи? Не могу же я идти таким грязным в город, таким, ей-богу, никуда не пойдешь, поди попросись на ночлег...

Остался я с ночной охраной. Едва ли не на каждом шагу там кто-то стоял, кое-где даже по двое, по трое, причем поминутно кто-то бежал поглядеть на какое-нибудь подозрительное место: не ровен час, огонь опять где запылывает.

Провел я с ними целую ночь. Хотя и подыхал от усталости, да и было с чего умориться, почти всю ночь был на ногах. Тем временем я уже успел немного ополоснуться у этого негодного железнодорожного гидранта, где умывались, чертыхаясь без конца, и другие, а когда умылся и невесть чем обтерся, то почувствовал, что доволен собой; когда небо в звездах — не всегда же под ними все различишь: в ту звездную ночь, умывшись, я, право слово, рад был бы кому-то и улыбнуться повеселей, авось я бы ему и понравился.

Кое с кем я все-таки успел немного сдружиться. И было чем пузо набить. Пожарные в ту пору у каждого были в чести. А ну как у тебя где запылает, а у самого кишка тонка

пожар потушить? А ежели еще вот такой пожарище! Когда люди вечером как следует подзаправились, то вспомнили и про охрану. Кто сразу свое умял, кто позже принялся за еду — у меня все время было за кем подъедать. И следующие дни показались мне замечательными. Потому что прежде, чем нам разойтись, сперва один, а потом и другой сказал мне:

— Ты, парень, помогал нам гасить, да и сторожил хорошо, стало быть, погоди убегать-то! Потому как и пан Палудай, знаменитый виноторговец, кое-что припас для нас, прислал нам изрядно мяса и вина!

У пожарников мне очень понравилось. И не потому, что я съел больше всех этого самого мяса и что даже вина удалось хлебнуть. Мне у них еще другое пришлось по душе. Форма. Да и жить было негде, а у пожарных тогда не только было где спрятать насосы и всякий инструмент — для гасительных снарядов имелось депо, но у них была еще и караулка, где ночью находилась дежурная часть. Несколько дней и я с ними дежурил, правда, кое-кому — они же чередовались, — кое-кому я, наверное, не очень-то приглянулся, хотя мне уже подсказали, где можно вычистить платье, и я опять ходил в чистом. Днем я искал работу, ну а на ночь всегда заворачивал в их служебное помещение. Меня тянуло к ним. И я уже стал кое в чем разбираться. Хотя уже с вечера, случалось, клевал носом, я все равно слышал, о чем они толкуют. По именам я знал уже едва ли не всех пожарных, кое-что узнал и о прошлых, давнишних пожарах. Некоторым, особенно пожилым, было о чем вспоминать. Ей-богу, вдруг мне стало казаться, что уже с коих пор, спокон веку, везде и повсюду только всегда и горело. Например, иной раз приходилось вычистить какой-нибудь колодец, может, всего-то один, но в замках обычно глубокие колодцы, и вот изволь его вычистить, а в нем газ. Спустят вашего товарища в колодец, а он там возьмет да и задохнется. Через два-три дня похороны, и пожарники уже на похоронах толкуют о том, что надо бы срочно раздобыть противогазные маски, даже написать об этом и в «Западновенгерскую пожарную газету» — пожарной

команде без масок просто зарез. К счастью, маски уже имеются, хотя кой-кому может казаться, что в них теперь и особой нужды нет: пока ни в одном колодце, да и нигде в другом месте, никакого газа пожарными не обнаружено. Но огня с лихвой хватает! Обо всех пожарах даже и не ведаешь. А иной и видишь — эго из окна полыхает, — да к нему не подобрешься. Счастье еще, что у фирмы «Магирус» в самое время купили эти знаменитые «магирусы» — пожарные раздвижные лестницы. Когда люди их впервинку узрели — глаза таращили. А когда-то ведь бывал и день пожарников! В самом деле, пожарники иной раз могут устраивать для людей и прекрасные дни! Например, бал! Приедет Франц Легар*, и, если играет военный оркестр, среди прешпоркских пожарных превосходно себя чувствуют даже венские гости, среди них кое-кто и от императорского двора, может, даже сам пан император стоит и попивает винцо, а рядом с ним капитан Мартиненго**, они беседуют, у них, пожалуй, схожие голоса, но вдруг ненароком им почему-то обоим станет смешно, и пан император, хоть и собирался лишь улыбнуться, неожиданно расхохочется, а поскольку ты от них на значительном расстоянии, то нипочем и не отгадаешь, кто вместо того, чтобы улыбнуться, так громко хохочет. Когда давали в театре эту оперетту Иоганна Штрауса? Ну, эту *Spitzentuch der Königin*, то бишь «Мантилью», черт побери! Театр был переполнен, и давали ее в пользу пожарных, а выручка пошла вроде бы на эти самые раздвижные лестницы. Или я ошибаюсь? Может, новые лестницы объявились уже позже, лишь после пожара на паровой лесопилке Гайбёка при поместье Палфи***, а то еще позже, гораздо позже? Ведь до «магирусов» появились ручные гранаты, а год спустя после этого загорелась динамитная фаб-

* Легар Франц (Ференц) (1870—1948) — венгерский композитор, дирижер.

** Мартиненго Фердинанд (1821—1895) — фехтовальщик, педагог, основал в Братиславе первую, в масштабах всей Венгрии, физкультурную и фехтовальную школу.

*** Палфи — разветвленный древний род венгерских князей и графов, владевший обширными поместьями в Словакии.

рика, а потом и артиллерийский завод. Мартиненго, нет, его вроде там тогда не было. Мартиненго, но и это, кажется, уже позже, был в Риеке с депутацией пожарных. На памятники Виктора Эммануила* и Гарибальди несли они два венка. Ежели постоянно имеешь дело с огнем, немудрено и запутаться — ведь куда только не бегаешь помогать; то горит на конфетной фабрике, то опять же на рафинадном заводе, ежели горит Ламач, айда на Ламач, а кричат из Копчан, давай прись аж в Копчаны, а если ты давненько в пожарах и многого на своем веку навиделся, разве упомнишь, где какая у тебя была лестница, обыкновенная или раздвижная, первая или вторая, усовершенствованная механическая или тот второй «магирус»? Спроси меня, когда впервые объявился или был использован в Прешпорке «тивадер», я, пожалуй, оплошал бы и скорей всего бы сказал, что только после второго, еще более совершенного, «магируса». Но такой пожарище, каким был этот последний, у нас и впрямь редкость. Это было нечто невиданное, черт подери, вот уж была жируха, так жируха! Один жир, керосин, бензин, масло масляное, сплошное жирье, такие огромные закоптелые, раскаленные флаги и полотнища я уж давно не видывал!..

То ли сплю, то ли не сплю. Случается, засну в два счета, и плевать, что вокруг меня разговаривают. Иной раз и добудиться меня невозможно. А бывает, сплю чутко. И слушать не хочу, а над головой вдруг раздается:

— Этот парнишка опять тут дрыхнет? Оң, конечно, помогал нам на вокзале, но пора бы его завтра выдворить. Никто ведь путем его и не знает.

Еще немножко делаю вид, что сплю, а может, и правда стараюсь уснуть, но сон меня не берет, и потому сажусь, хотя, может, и не сразу.

В караулке — не считая меня — двое. Оба видят, что я сел. Может, еще что-то, может, хотя бы один из них мне еще что-то скажет.

* Виктор Эммануил II — один из королей Савойской династии, царствовавшей в Объединенном итальянском королевстве.

Молчат. Самому, значит, надо голос подать. Пробую начать переговоры:

— Что-то я никак не усну. И я вроде слышал, что вы говорили. И вот думаю, почему бы мне в Прешпорке не остаться? Что, если бы вы за меня словечко замолвили? Не могли бы вы пану Мартиненго сказать что-нибудь?

— Ты что, еще от сна не очнулся?

— Нет, очнулся. Но я не знаю, куда идти. Я и Прешпорка толком не знаю, некому за меня слово замолвить. Только здесь я уже немного обвыкся. Ведь если в Прешпорке я кого и знаю чуть-чуть, так это только пожарных... Не можете вы пана Мартиненго попросить за меня?

— Да чего ты все со своим Мартиненго? Ведь он же умер давно.

— Пан Мартиненго умер? Вы же давеча его вспоминали.

— Вспоминать можно. Ведь он был капитан и командир всех пожарных. Но это было давно. Теперь главный — Седлейн.

— Седлейн? Теперь пан Седлейн? Это тот, что командовал на вокзале?

— Он самый. Ты же видел его. По-твоему, выходит, что каждый пожарный командир должен зваться Мартиненго? Если и станешь пожарником, все равно этим делом не прокормишься. Да если б и удавалось в Прешпорке кое-что заработать, сколько, по-твоему, требуется пожарных, кто им платить станет? Да еще таким, что хотят не только тушить, но и кормиться с этого дела? К Седлейну и ходить тебе незачем. Согласен только тушить, бегай себе куда вздумается, огонь повсюду найдешь, не в одном Прешпорке. Знаешь, приятель, ты завтра же и отчаливай!

Хожу, брожу по Прешпорку, куда деваться — ума не приложу. Парнишка! Ум еще короток! Дали ему прешпоркские пожарные каску, а он и вообразил, что в Прешпорке одни пожарные. Было бы так, каждый обзавелся бы насосом, даже гасить было бы нечего, а захоти они этот насос в дело

пустить, пришлось бы друг друга обливать, целый год было бы у них «обливание»*.

Конечно, если уроженец Турца впервые спустится на юг, дойдет до самой Братиславы и увидит там и сям на улице виноград и еще нечто мутное, что люди пьют, ему не обязательно знать, что на Дольняках**, а стало быть и на Братиславской земле, в сентябре виноградная страда. А это мутное питье, которого в Турце иной, даже отчаянный пропойца и выпивоха, глядишь, с непривычки и опасался бы, и есть тот самый «бурчак» — бродящее сусло. Ясное дело, его пьют не везде, даже не во всех винодельных краях, но если вы уже раз отведали его, то, конечно, хмыкнув, хлебнете еще разок, а кое-кто при этом, может, и головой покачает, оглядывая липкий стакан: хм, до чего эта штука грязная и липучая, хм, но попробовать не мешает.

И вдруг, представьте себе, вся Братислава кишит винными мушками! Где они до сих пор обретались? Неужто этот пожар сбил их с панталыку?! Кто-то, неведомо почему, сует вам в руки стакан. В сентябре как-никак идет дегустация! В Братиславе, хотя дым кой-чего и напортил — разогнал мушек и отбил аппетит, в Прешпорке, или же Пожони***, в сентябре отовсюду разит мустом, «бурчаком», стаканчики мелькают быстрее, чем когда-либо, некоторые просто подсакивают, и на каждом, даже на том, из которого пьете, сидит не меньше семи мушек, а на ином только три. Ну и ладно! Мушка тоже хороша! Вкусная! Ну а ежели вы ее хвалите, она сядет вам и на губы, конечно, мушка-то винная!

Пошли в другое место дегустировать!

В Рачишдорфе и в Вайнорах, в Святом Юре и в Гринаве, в Пезинке и Модре, по всему краю мушек — тучи несметные, тарахтят телеги, грохочут двуколки, а люди знай бегают, носятся, один катит кадку, другой кадушку и давило, чтоб

* Народный обычай, существовавший у славян: у словаков, например, в пасхальный понедельник обливали водой молодых женщин и девушек, у русских окачивали водой тех, кто просыпал заутреню в первый день пасхи.

** Южные области Словакии.

*** Венгерское название Братиславы.

успеть еще раз обернуться по-быстрому, другому и двух дали мало, да чтоб большие, больше, чем кадушка, больше, чем две кадушки или даже две кадки, ведь они у него уже на телеге и обе полнехоньки, куда их теперь вывалить? А то первое, что уже бродило-бурчало и что мы уже отведали, как оно? Бурчит все? Черт, до чего вкусное!

И дети носятся. Прокатиться-то хочется. Грохочет телега, а ты и не видишь, что из кади или кадушки вдруг высовывается голова. Еще только едут собирать виноград. Или уже и они управились? Ежели у тебя двуколка, можешь бегать, ловчей поворачиваться. А нет у тебя ни телеги, ни тележки, ни даже тачки, взвалишь на спину путну* и так развертись — что с того, что у тебя всего лишь клочок земли на задах и, может, где-то в дальних Себреках или за Себреками три-четыре виноградных куста, но уж если ты вертись, то даже в Себреках очутишься раньше, чем тот, кто бежал с путной в ближнюю Флокну. И еще, и еще раз идешь, хе-хе, а кто ж у тебя из путны выглядывает? Мальчонка? Негритенок, что ли? Эй, негритенок, никак ты в Себреки собрался?

Повсюду крик, пение, гомон. На пригорках и на дорогах. На дорогах все время что-то скрипит, погонщики чмокают губами, а так как они уже с утра поминутно прикладываются, чаще не закусывая, то, бывает, кто и рыгнет и даже оглянуться не подумает. А вот издай другой возница, да и не возница, подобный звук, это вряд ли пришлось бы по нраву тому, кто уже отрыгнул и теперь лихо понукает лошадку.

А впрочем, лошадь у тебя для чего? Можно ведь и на лошадь свалить. Поди разберись, что у кого вылетело и каков был звук. А вот ежели еще и запахнет? По крайности, мушки на время отстанут. Ведь иная из них и в глаз влететь может. Лошади такое и то неприятно. А если этих винных мушек тьма и они плодятся да повсюду садятся, то от них одних, ей-ей, захмелеешь. А куда денешься, сезон ведь! «Бурчак»! Как-никак он только в сезон и пьется! Ку-ку! Кажется, я проглотил мушку, можешь закуковать еще раз! Хотя кукуш-

* Деревянная или плетеная плоская корзина с лямками для носки на спине.

ка на этот год уже откуковала. Ах ты черт, а это винцо-ви-нишко прямо с пригорков стекает! А те, что бегают с путнами, они ведь с раннего утра уже бегают и знают, что всякий раз, высыпая путну в телегу, могут внизу у дороги и тяпнуть глоток, некоторые ближе к обеду эти глотки уже и считать перестали, они просто катятся под гору, а кой-кого только полная путна и подталкивает, они трусят, спотыкаясь, с пригорка к телеге, да вот беда: никак ее не найдут, даже путну высыпать некуда... Счастье еще, что возле телеги что-то посверкивает: эге, да здесь выпивка! Хороша, ничего не скажешь! А, нелегкая все унеси, пошли тяпнем! Ведь и завтра день, еще и завтра с путнами натаскаешься!

Был я, право слово, и в Рачишдорфе на виноградной страде. Дали мне путну, ну я и бегал с ней, а поскольку все потягивали, так и я потягивал. Ходил я туда и сюда, вверх и вниз, таскал и таскал путну, наработался вволю, но чувствовал себя там как на престольном празднике. Хотя и не довелось всякий день есть гусятину, никто ни разу меня ею не потчевал, но винограду я там до отвала наелся! Каждый день этак кило по семь! И фасоли хватало. Повсюду в округе, как только приходит черед лущения, пора фасоли, одна пора подает весть другой, и та тоже не заставляет себя ждать — один срок набегаёт на другой, и разом у тебя и «бурчак», и фасоль что ни день. А ежели ты к вину не очень привыкший, в голове у тебя звон непрерывный стоит, ты поешь и поешь, люди тебе улыбаются, ты поешь и северные песенки, и южные, ноги у тебя заплетаются, хоть ты уже опять шагаешь по Прешпорку...

Должно быть, именно в такой час, когда я так весело напевал одну песенку за другой, перемешивал их и на все лады вытягивал, заметил меня один человек. Бог знает, когда и где он прибился ко мне и куда мы потом пошли, только вдруг я очутился в его доме, не то в доме его товарища, они поднесли мне рюмочку, и я пел им всю ночь.

Это был пан Барток*. Так зовут его, сказал он мне, и я

* Барток Бела (1881—1945) — венгерский композитор, пианист, музыкальный фольклорист.

понял, что это не обычный человек — и глазом не успеешь моргнуть, а он уж песенку записал. Но я был под мухой и только к утру сообразил, с каким человеком расстанусь...

Видать, я довольно долго задержался в Прешпорке. Бродил неведомо где. А уж потом, добравшись до Вены и повстречав друга, а то и нескольких друзей, только и знал, что похвалялся паном Бартоком. Я рассказывал им, какой это был замечательный человек, композитор, музыкант, и еще многое другое, и, конечно, что я знаком с ним. Только ребята, с которыми я поначалу водил дружбу в Вене, все мусорщики. Это те, что улицы подметают, мусор по домам собирают. Они не из тех, что легко верят на слово. Кой-чему, может, и верят, но далеко не всему. Даже моим рассказам о прешпоркских пожарных. Пожалуй, я и впрямь кое-что присочиняю, но часто потому только, что приятно похвастаться. К примеру, когда упоминаю о капитане Мартиненго, то говорю о нем так, словно встречался с ним каждый день или был с ним на всех пожарах и помогал ему в его капитанских хлопотах или кое в чем замещал его, а потом, хоть никогда в жизни его не видал и, само собой, не хоронил, расписываю, какие у него были пышные похороны — даже императорский двор принимал в них участие. Ей-богу, стоит только все это вообразить себе, как мне начинает казаться, что все это было действительно так: и я шагаю в процессии с военным оркестром, чтобы напоследок почтить капитана Мартиненго, это ведь он основал братиславское общество пожарных, это он был почетным членом иностранных пожарных обществ, и к тому же знаменитым фехтовальщиком, мастером своего дела. Я шагаю в почетной пожарной части, которой теперь командует Седлейн, а за нами представители иностранных пожарных обществ, общества воинов-ветеранов, оркестр, ученики, молодежь, священники, катафалк, носильщики с факелами, траурная процессия, в которой — правда, я это замечу лишь уже на братиславском Ондрейском кладбище — шествует и личный адъютант барона Шеела от имени

эрцгерцога Фридриха, и, конечно, весь братиславский магистрат. Мужской хор запекает Liedertafel*, а потом...

А ребята знай смеются надо мной.

— В самом деле, что же потом? Уж не тебя ли выбрали потом в Братиславе командиром пожарных?

Олухи! Не уйди я из Прешпорка, меня бы и впрямь выбрали. Пусть не сразу, а позже — это уж бесспорно. Останься я там, может, и мне когда-нибудь пропели бы Liedertafel.

И хотя ребятам я много чего нагородил, сколько раз даже паном Бартоком выхвалялся, однако мои пожарные подвиги их особенно задели за живое — с некоторых пор чуть ли не все венские мусорщики, подметальщики и их друзья стали звать меня Мартиненго.

Дружки мне не верят, но вот однажды стою я после работы на тротуаре (кто только по нему не ходит: бедняки и господа) и вдруг замечаю, что среди незнакомых пешеходов идет человек, которого я откуда-то знаю. Господи, откуда же? Уж не пан ли это Барток?

Я еще сдерживаюсь, чтоб не броситься к нему. Мне еще не верится, что это он, но я все же кричу:

— Добрый день, пан Барток!

А шел он не один. Уставилось на меня несколько пар глаз, остановились и его спутники, ищут взглядом того, кто крикнул. За спиной у меня — мои товарищи. Если и насторожились, то скорее из любопытства. Но это действительно пан Барток. Пооглядевшись, он двинулся за своими спутниками.

Но, сделав два-три шага, снова оборотился.

И тут я не выдержал. Подбегаю к нему и, уже стоя лицом к лицу с ним — все равно, узнает ли он меня или нет, поздороваюсь или нет, а может, вовсе даст понять, что видит меня впервые, — говорю:

— Извините, пан Барток, это я крикнул.

Он оглядывает меня удивленно, с любопытством щурится,

* Песнопение заубойной литургии (нем.).

никак припомнить не может, когда и где меня видел, никак в толк не возьмет, чего же мне от него надобно.

Но я подхожу совсем вплотную:

Знаете, меня зовут Дюрис, однажды я пел вам. Вы не помните? Может, вы потому обратили на меня внимание, что в песенки я вставлял и то, чего там сроду не было. Я же всякое могу сочинить, когда и целую песенку! Просто так! Зовут меня Дюрис. В тот раз я пришелся вам по душе.

Пан Барток смеется:

— Дюрис! Ах вот что, Дюрис! Ты хорошо пел! А что ты здесь делаешь?

— Теперь я в Вене. Подметальщиком работаю. Но сегодня мы уже кончили. Так вы меня вспомнили? Мне всего-то и хотелось с вами поздороваться. Я и в Вене долго не задержусь. Глядите, ваши знакомые уже уходят.

— Знаешь, Дюрис, как ты повеселил меня тогда? Жалко, что нынче времени у меня мало. Завтра я отсюда уезжаю.

— Да и я в Вене долго не пробуду. Знаете, что я придумал? Съезжу-ка я как-нибудь в Пулу или Триест, погляжу на Адриатику, а там хорошо бы мне и во флот поступить. Пан Барток, знаете, какие это ребята? Хотя я у моря еще не был, но встречался с ребятами, для которых Адриа* то же, что для меня родной Турец. А удастся заработать во флоте, рыболовном или торговом — какая уж разница, тогда и в Турец наведаюсь, пусть там у меня и нет никого, а все равно схожу туда себя показать: гляньте, я моряк, приехал из самой Адрии, прямо из Пулы, там что ни день могу достать из моря рыбешку, а то и ракии тяпнуть. Но я вас, пан Барток, верно, задерживаю, простите, пожалуйста.

— Напротив! Я ведь тоже не прочь путешествовать! Когда помалу, а когда и подолгу, хе-хе-хе, но о флоте я еще не думал.

— Кое-кто из товарищей мне, конечно, будет завидовать, что я столько с вами разговариваю. Я ведь в Пулу пока не еду. Еще только собираюсь. А иной раз и о Гамбурге помышляю, там ведь тоже порт, раздобуду матросскую тель-

* Адриатическое море, Адриатика (словацк.).

няшку, море колышется, никак не надышется, а тут и я стою или прохаживаюсь среди матросов. Знаете, порой в ночных сновидениях мне чудится, что море гудит, играет, как ваш клavier, а то как цимбалы. Лунный свет падает на струны, на палубе матросы, господи, матросы! И все знают, что такое эклиптика, где Северный, а где Южный крест, как выглядит Орион, как летит и звенит над водой метеор. Море колышется, и вдруг на самом деле, на самом деле это цимбалы, а так как ты тоже стал матросом, тебе почему-то кажется, что для того, чтобы море краше и нежнее волнилось, тоньше звучало, небо ненадолго одолжило тебе музыкантские молоточки...

Пан Барток только хмыкнул:

— А дальше ничего?

Скорей всего я ему и на этот раз угодил — прежде чем уйти, ему захотелось чем-то меня порадовать, что-то мне подарить, только мне-то ничего и не нужно. А было тогда очень жарко, и он — может, попросту захотел пошутить, наверняка и жара поспособствовала, — он вдруг затянул меня в подъезд и подарил свою жилетку.

Хе-хе, расхаживаю я теперь по городу в жилетке и когда подметаю, и когда просто топаю за мусорной тележкой. Люди глаза плят, да и мусорщики любопытствуют, от кого мне, дескать, досталась жилетка и почему я в ней подметаю. Кое-кто, верно, думает, что Мартиненго стибрил жилетку.

Однажды возле меня останавливается какой-то седовласый дедок. Видать, его тоже заинтересовала жилетка, он даже намекнул мне об этом. Он знал пана Бартока, может, и видел на нем эту жилетку. А может, проходил по улице именно тогда, когда пан Барток, постояв со мной, остался без жилетки. Но в тот раз если он и заметил меня, то навряд ли запомнил. Видно, пан Барток просто что-то сказал ему обо мне, а может, и о жилетке, иначе он бы не остановился возле меня. А потом уже всякий раз останавливался.

Сперва я малость сердился на него, думал, что он прове-

ряет, как я работаю. Но когда понял, что мы оба знаем пана Бартока и что он, верно, опять же благодаря пану Бартоку, не очень-то стыдится меня, мы вроде бы и подружились немного. Разумеется, я всегда держался с ним исключительно учтиво, даже скорей настороженно, как бы на некотором расстоянии. Как-то я поделился с ним, что Веной уже сыт по горло, что лучше бы мне махнуть в Пулу или хотя бы в Гамбург, но, не будь в Гамбурге пароходов, которые бороздят море и тянут за собой пену аж до самой статуи Свободы, я, конечно, хотел бы лучше отправиться на Ядран*. Кабы не мой покойный отец, я, конечно, предпочел бы Ядран. Да вот хочу поглядеть, где работал отец. Просто поглядеть. Я едва ли там задержусь. Погляжу — и назад. В Гамбург. Теперь уж только для того, чтобы — раз я буду на суше — заскочить кой-куда, а потом гоп-ля на Адриатику, на Ядран. О Турце я, конечно, не забуду. На старости лет приду к какой-нибудь речушке, откуда, скажем, видна гора Острая и другие поросшие лесом горки-пригорки, а они, хоть и идешь долго-долго долиной, с обеих сторон скалят на тебя из-за деревьев сизые каменные зубы, а кое-где и зубищи, щербатые клыки! Хе-хе! Может, я найду что-нибудь в Нецпалах, в Мошовцах или Михале, но опечалюсь, окажись Мажарна** вдали от меня. Отца я не помню, но в детстве, рассказывали, именно он в первый раз привел меня к ней.

На старости лет в какой-нибудь из этих деревенок в Турце, может, будет у меня домишко или по крайности светелка, под старость, а то и раньше, обзаведусь я, пожалуй, и какой-нибудь удобной мешалкой, даже сам ее выстругаю, а кто-то другой — хотя при женщине я все еще малость робею — насыплет в кастрюлю муки и сделает саламату, пускай даже без масла. А придет время обеда, на столе всегда будет вдосталь тарелок и мисок. У детишек должны быть сапожки или хотя бы бурочки. И летом

* Ядран — Адриатическое море (словацк.).

** Сталактитовая пещера в Велькой Фатре, на южном склоне горы Толстой на территории села Блатница.

сандалики, а не крпцы*. А вздумают бегать босиком — милости просим! Но сандалики все равно пригодятся! И старики, которым уже трудно ходить, станут рассказывать, допустим, о шафране или о том, чем лучше всего запивать вареники или пельмени, непременно уточняя при этом, что речь идет о сибирских пельменях, которые носят в торбочке, в мешочке или даже в брючном кармане, — когда они замерзают, то становятся такими твердыми шариками, — а у кого много пельменей, тот никогда — упаси нас, боже, войны, — тот никогда войны не проиграет, хотя о ней лучше вовсе не думать. Остановятся сани — будут сказывать старики — у какого-нибудь трактира, у корчмы, у избышки, у кабачка, кабака или у самой обыкновенной лачуги, выйдет оттуда сибиряк и спросит: «Чаю?» — «Пельмени свари!» Ну а чем запивать пельмени? Что к ним положено? Чай, конечно, всегда хорош, но с пельменями или после них лучше всего пить водку или молоко. Только и в богатом краю иной раз случается год, когда замерзает трава и даже летом мычит коровенка. А пельмени ведь тоже сами по себе не растут, на дороге не валяются, кто-то должен их приготовить, а если замерзнут, и разогреть.

Тут всегда важно знать, что с чем связано и почему. Стоит вслушаться, и увидишь весь мир целиком, осознаешь, в какую даль отправляется из Турца шафран, представишь себе, как выглядит Иркутск, близко ли от него Байкал, так ли уж они рядом. Чтобы еще лучше себе это представить, надо окинуть взором и юг и север. Говорят, например, где-то в Сибири большой метеор, хвостатая звезда или комета, проложил глубокую и широкую борозду, и осталась там якобы громадная впадина. А что, если бы у кого была очень длинная и острая сабля и он, хотя бы любопытства ради, попробовал бы ею дотянуться до месяца? Уж не расхотелось бы и месяцу ярко светить, хотя и он в свой черед кого-то, наверно, умеет покалывать.

Ну а раз он светит, интересно бы знать, как все это

* Словацкая национальная обувь из одного куска кожи.

выглядит сверху, есть ли там, внизу, березки, есть ли они еще у Байкала и за Байкалом? Как блещут в Уссурийском крае по ночам болота и озера, есть ли и вокруг них березки, красиво ли они там ночью и днем смотрятся? А месяц! Как глядится месяц в эти болота и озера? Не пугается ли он сам себя или, может, любит? Но как бы там ни было, когда старики станут про все это рассказывать, а я, затаив дыхание, буду их слушать, мне и тогда, пожалуй, примерещится Адриатика...

Конечно, я не выложил этому седоволосому деду все разом. Все сразу мне и на ум не пришло, да и у него не нашлось бы для меня столько времени. Но однажды я и ему напел, и тоже на улице, одну из песенок, которые нравились пану Бартоку. Вспомнил я, пожалуй, только мелодию, а слова пришлось подыскать.

В Гадерской долине ангелы летают,
видно, веселятся, тихо распевают.

А то все печалются, что камней так много
в Гадерской долине, сотворенных богом.

Ты еще девчонка, а камень перепрыгнешь.
Ты еще мальчонка, а кров родной покинешь.

Одни покидали, другие ворочались,
Чтобы сиротами камни не остались.

Да, правда, это было на улице, и я совсем тихонько пел. А этот пан-старикан возьми да и спроси:

— А не хотел бы ты работать на почте?

— На почте?— улыбнулся я и на минуту задумался: гм, почта есть почта, особенно зимой, подметать там, пожалуй, лучше. Флот пока подождет!— Отчего же нет? Можно и почту подметать.

И вскоре, хотя дело оказалось и не такое простое, я стал работать на почте. Поначалу были всякие хлопоты, а точнее, разная бумажная волокита, конечно, если хочешь работать на почте, люди должны тебе доверять. Это не более как

формальность, и придерживаются ее скорей в городе, но достаточно какой-либо бумажки или доброго словца, и ты уже на почте, и даже если не сразу тебе поручат деньги считать, то почтовую трубу запросто доверят. Конечно, если трубить умеешь! Но сперва ее купить надо.

По счастью, трубит за тебя кто-то другой, когда трубач, когда только почтарь, трубит затем, чтобы все было в лучшем виде, чтобы почта предстала в полной красе да и чтоб он лицом в грязь не ударил. Но ему и невдомек, что иной раз, хоть он и хороший почтарь — им и на почте довольны, и люди его привечают: это же человечек полезный, возит лишь то, что посылают, и всегда довозит в порядке, — а с трубой может и не управиться. И что хорошего, если приходит почта, а для тебя — ничего, приходит почта, а для тебя — никогда ничего, и только этот почтовый возница, почтарь, почтальон, который всегда честно довозит и хорошее и плохое, знай безобразно трубит?

Спасибо еще, что почтовая труба не очень закручена. И вообще, настоящим музыкантам надо бы упредить почту, чтоб почтари даже не пытались извлекать особо нежные звуки. У каждого господина, да и у простолюдина, конечно, свой вкус, но умный человек, пусть у него есть и труба, и звучное имя, и даже чин, если он только по почтовому ведомству, то должен предоставить специалистам решать, сколько трубе иметь оборотов, какой мундштук и как ей вообще выглядеть. То же и к специалистам относится: один умеет изготовить медь или сделать трубу, но всю жизнь не играет, а только в нее фукает, другой же, хоть в металлах и не шибко разбирается, а возьмет в руки трубу, приложит к губам и уже сразу слышит, чего ей не хватает.

Хорошо еще, что у почты есть и рожок. И его достанет! Для почтаря и рожка хватит — дуди себе, у тебя же рожок: трам-та-та!

И вот, пускай я и не бог весть какая шишка, но когда иду по улице и встречаю товарищей, покрикиваю на них или они меня окликают:

— Что с тобой, Мартиненго? Ты вроде нас сторонишься?

— Нет, что вы, ребята! Мартиненго уже не Мартиненго. Потерял он метлу. А хотите, дам поносить вам жилетку. Мартиненго тью-тью, на почте работает только Дюрис.

Работа на почте мне нравится. Да я и мечтать не смел о такой. И почта была большая, и много почтальонов, ходивших с сумками. Но я сперва выполнял черную работу. А дали бы мне сумку, я бегал бы по городу как угорелый, хотя много ли заработает такой обыкновенный почтальон? Нынче — не знаю. А тогда такой почтальон-письмоносец мог заработать разве что на хлеб и на воду, в городе, скажем, в Вене, заработок позволял ему прикупить в пекарне еще и парочку «кайзерок»*, но особенно объедаться не приходилось — потом и жениться не на что было бы, а если б и женился, так жена не захотела бы детей заводить: съедай он каждый день по шесть, семь кайзерок — что бы детям осталось? А человек, он ведь и завтракает, и обедает, хочется ему и вечером есть, но и это не все. Одежда, топливо, квартира и всякое прочее. Вот жена и скажет: дружок сердечный, у нас семеро детей, будем покупать только семь кайзерок, а нам с тобой — шиш!

Да ведь если жена будет держать тебя в черном теле, а почта ни черта не добавит, то и с сумкой носиться не очень-то захочется! Хорошо еще, что почтарь всякий день среди людей околачивается, знает, у кого какое хозяйство, и навряд ли станет довольствоваться тем, что жена ему выделила или собиралась выделить. Нет-нет да и принесет он кому-нибудь особо ценное отправление, к примеру, деньги, и порой немалые, а кому и посылку; иной раз и не помышляя о том, доставит кому-то и необыкновенную радость: влюбленному, то бишь совсем чокнутому, принесет отчаянно влюбленное письмо — и чаще всего именно от неверной подружки или вероломного друга. Тут уж какой грошик или геллер ему непременно достанется! Иные и вовсе расщедрятся! Принесет почтарь особо

* Особый вид булочки, из тех, что когда-то выпекались для кайзера.

ценную весточку, они возьмут и сунут ему что-нибудь или угостят хотя бы. А принесет деньги, тогда и совать не надо — почтарь, отсчитав крупную сумму, мелочь, как правило, никак не может найти, он ведь уж наперед знает, сколько мелочи ему потребуется и что он начнет искать ее по карманам иль в кошельке, у него, конечно, полно мелочи, ему же ее и так почти везде оставляют, а он все шарит и шарит в своем кошельке или кармане: «Не знаю, не знаю, найдется ли у меня мелочь, подождите, сейчас, сейчас, поглядеть надо!»

И он так долго звякает мелочью, пока ему не скажут: «Не стоит беспокоиться! Мелочь возьмите себе!»

А ему только и остается, что поклониться: «Благодарствую. Целую ручку, милостивая пани! До свиданья, милостивый пан!»

Конечно, все это относится к городу, но и в деревне ничуть не иначе, просто там столько почты не бывает. В некоторых деревнях, может, и бывает, но есть же небольшие или вовсе крохотные деревеньки, где о почте вообще не имеют понятия, и почтарю туда нет никакого смысла ходить. Там о почте заботится обычно какой-нибудь лежебока. Получит почтовую сумку, фуражку, пожалуй, и пелерину и что ни утро отправляется с сумкой в город, берет на почте два-три письма и какую-нибудь открытку.

Под пасху или рождество такого добра случается больше, иной день придут и четыре открытки, а письма, глядишь, ни одного, кому охота под рождество письма писать и зачем? Ведь порядочный человек на рождество все равно сидит дома. Открытка — дело другое, это годится, открыткой или открытками вы же можете обеспечить всех тех, кому в течение года нет охоты писать, а вот перед праздниками с ними все уладите, утрясете и останетесь вперед друзьями. Так вот, этот самый почтарь из маленькой деревеньки несет в своей сумке два письма и одну открытку, под праздники четыре открытки и одно письмо, торопиться ему незачем, да он и не больно торопится. Разве что зимой. Но ежели мороз крепкий или, скажем, вьюга, тогда он

попросту плюнет на все это дело. Летом, однако, ходит всякий день. Если он любопытен и думает, что в одном из этих двух писем, которые он несет, какой-нибудь секрет, он сядет где под деревце и прочитает его. Почтари уже и этому научились. Научились и заклеивать письма — пусть это и заметно по ним, но в деревне только рукой махнут на такие вещи, и все. Если там что посерьезнее, то рано или поздно оно и так выйдет наружу: олух царя небесного, читай, коли тебе охота!

А он уж давно прочитал! По дороге, идет-то он полем да с сумкой, сумка у почтальона большая, сунет он эти два письма в карман, чтоб не запачкались ненароком, а в сумку то, что удалось по дороге спроворить. А иначе какой ему смысл в город переть?! За эти-то два письма, что он в деревню доставит, почта и впрямь ему гроши платит. Только вот такой деревенский почтальонишка делает это с радостью — может, он хворый или таким притворяется, может, просто ленивый, но раз у него почтарская сумка и фуражка, вид у него внушительный. Да и потом, в сумке можно притащить гороху, фасоли, груш или яблок. А это уже кое-что да значит. Дома он все это высыплет, два письма опять сунет в сумку и ходит по деревне. Бывает, и целый день. Откуда людям знать, сколько у него писем? Ведь он в каждый второй дом заглядывает, куда лишь поздороваться, куда только доложить, что им ничего не принес, а где прямо скажет, без околичностей: «Вам — ничего, я просто зашел поглядеть, что вы настряпали!»

Что ни говори, а почтарем хорошо быть. Я и теперь за них горой. В общем-то, это пехота, пешие или велосипедисты, калеки и больные, этакое разнесчастное войско. Как же старому солдату и почтарю-ветерану не любить других солдат?

Но, как уже сказано, я тогда работал прямо на почте, но не письмоношцем, что бегаёт с сумкой: мне удалось найти там почти чиновничье место — собственно, другие для меня его подыскали, заверив, что можно на меня положиться...

А про этого седоволосого пана, который нашел для меня это место и, наверное, за меня походатайствовал, я как-то сразу забыл. Время от времени, правда, видел его на улице — то мы шли по разным тротуарам, то я нарочно переходил на противоположную сторону, возможно, избегал его — благодарить не хотелось. Однако со временем, даже не припомню когда, я и вовсе перестал его замечать — он был пожилым, и я знал, когда и где он прогуливался, обычно я видел, как он входит в деревянные ворота, хорошо мне знакомые, правда, только снаружи, или выходит из них, но я и ворота перестал замечать, ибо старик уже там не показывался; и у меня даже мысли не возникало, что мне его не хватает на улице.

И тут вдруг меня забрали в армию, хотя мне и думалось, что солдатики про меня не вспомнят. Если я когда и мечтал о флоте, то прежде всего о кораблях и о ребятах, о загорелых матросах, у которых, когда они стоят на палубе в голубых или полосатых тельняшках — а то и в красивой военной форме, — всегда, верно, щиплет глаза, то ли от ветра, то ли потому, что они всю жизнь глядят на воду.

А я оказался в пехотной казарме. Н-да, хорошего мало. Пехом я мог ходить и в почтарях. Я и там неплохо продвигался по службе, от тяжелых ящиков перешел к посылкам, а из них выбирал те, что полегче, тяжелые другим оставлял — пускай другие тоже потрудятся. Поздней я уже занялся письмами, сортируя их по адресам. Господи, где я только не побывал! Куда только почта меня не забрасывала! В любой уголок земли. И со всех уголков земли через нас, а стало быть и через меня — я же работал на почте, — шли письма, открытки, посылки. И сколько из них сохранили следы моих рук, пусть их там и не было видно; порой мне казалось, что и ноги мои бегут за этими письмами. Да, в самом деле, я уже везде побывал! И вдруг — боже правый, я среди других солдатиков, в пехотной казарме! И вот для меня уже приготовлена полная походная выкладка, только некому было еще сложить ее или научить меня все это ловко скатывать, скручивать, разравнивать, укреплять, стягивать ремешками,

а я стоял уже голый перед фельдфебелем, который должен был одеть меня; позади валялась нескатанная шинель, а меня все еще разбирала охота поговорить, и я спросил, как глупый, не разбирающийся в званиях, не братиславский, а венский, опечаленный Мартиненго, которому прешпоркские пожарные не позволили в Прешпорке носить пожарную форму:

— Пан капитан, знаете, я пехоту уважаю, но всегда мечтал только о флоте, не могли б вы мне лучше с самого начала, не могли бы как-то помочь, перевести меня во флот...

А он на меня вдруг как заорет, поднял такой крик, что и минутой позже, когда я уже собирал перед ним вещи, я даже сообразить не мог, все ли собрал; еще в тот же день обнаружилось, что там нет ранца, из-за чего вечером ребята подняли меня на смех, растолковав, что, если пехотинец хочет собрать все необходимое, чтоб выступить в поход, то есть быть с полной выкладкой, хе-хе, без ранца ему никак не обойтись...

Вскорости меня — и надо сказать, с уже отлично свернутой скаткой и ранцем — перевели в Брно, не припомню сейчас, на какой срок, да и город мне не очень-то запомнился, хотя по некоторым улицам не раз пришлось топтать маршем, а иногда удавалось и прогуляться; правда, доведись мне увидеть на открытке замок Шпильберг или какой-нибудь брненский собор, я мигом бы догадался, что это Брно. Месяц, однако, пробыл я в Зальцбурге, потом снова Вена, и повсюду меня учили лишь щелкать каблуками и орать. Хоть армейский ор поначалу тебе и противен — в солдатчине корбит тебя, пожалуй, и похабщина, которой кому ни лень забивают тебе уши и разум, крошат ее чуть ли не в чаламаду*, тут недолго возненавидеть и некоторых, даже не самых худших, офицеров, — но с первого же дня ты тоже учишься кричать, а смекнув, что и за крик можно удостоиться похвалы, учишься кричать и украдкой. К примеру, в подвале казармы, в котором до черта крыс. В иных казармах крысы могут играть и в моряков, могут нырять, а при желании и выплывать на остров — в воде посреди подвала набросаны старые

* Салат из маринованных овощей (словацк.).

соломенные тюфяки, и если на верхних этажах тебя берут в оборот, ищут свинство там, где и следа его нет, и учат горланить, ты отводишь душу в подвале, хотя и пришел туда лишь затем, чтоб набрать охапку дровишек; сухая здесь одна лестница, потому как торчит из воды, и ты не задумываясь отрываешь от нее перекладину, навверняка еще и другим на растопку останется. Ты кричишь, ради смеха муштруешь и крыс — неплохо было бы попытаться поймать хоть одну и сунуть кому из штабных в кафельную, на худой конец и в железную печку. Я делаю попытку, и моряки — ей-богу, их тут целая крысиная флотилия — так и мчатся к берегам, к этим соломенникам. И вот все уже в окопах, разумеется, вместе с офицерами, и хотя без связи нет командования, все их связисты тоже жмутся на неведомых позициях, ежели уже загодя на соломенном острове успели соорудить их.

Я и не заметил, как в подвал пришел и, верно, с минуту слушал меня солдат, с которым мы вместе получали когда-то портянки и который первым из всех сподобился особой похвалы за крик и, конечно, невероятно гордился этим, — он тоже должен был растопить где-то печку и был рад-радехонек, что сможет оторвать еще одну перекладину; на радостях он и открыл мне секрет, что научился кричать много раньше, еще когда работал в имении и погонял глухого коня, уже тогда, дескать, никто не мог его перекричать, хотя конюхов там было — как собак нерезаных, а в конюшне свыше двадцати лошадей; когда он кричал на своего коня и вытягивал его при этом еще кнутом или кнутовищем по хребтине да по башке, чтобы крик этот лучше врезался в уши, сразу вставали во фронт не только лошади, но и все прочие конюхи. А вот в армии, посетовал он, черта с два разбираются, где кому место, — я, к примеру, мечтал о флоте, а он, в свой черед, в лошадях толк знает, а теперь что он, что я не при деле, хотя он и тут не пропадет, благо сумел в первые же дни придать своему ору особое качество. Стоило ему вслушаться, как повсюду орут, и самому попробовать заорать: «Черт побери, хмельхерготаллилуйя!» — он сразу смекнул, что, когда кричал по конюшням, в горле ему чего-то не доставало;

в казарме же он понял, в чем дело, и вот меня тоже хотел этому обучить. Сперва ему казалось, что каждое слово я немного растягиваю, но даже если я и покорооче кричал, он все равно качал головой: и это, дескать, не то. Сперва надо мощно гаркнуть, а потом, если речь идет, предположим, о двухслововом слове (он, конечно, понятия не имел, что такое слог), надо на втором слоге команды чуть задержаться, он должен загрохотать в глотке, но при этом зазвучать так, будто ты одновременно и голосом и кулаком ударил коня по морде, концом слова и, главное, кулаком надобно придавить, тряхнуть морду так, чтобы конь знал, что глотка и вторая рука могут выдать ему еще один, куда более внушительный приказ. Он потом еще не раз старался преподать мне урок, ему все казалось, что я не дотягиваю, но когда мало-помалу я вышколил, натренировал голос, он стал вдруг, наверно из зависти, меня избегать, особенно когда уже в Вене я заработал первую железку, да и первую звездочку, он полагал, что это его заслуга и что эта звездочка, конечно, принадлежит ему.

В Вене я могу выйти и на прогулку, но куда идти? Кого провести? Захожу на почту, но мне сдается, что работы там невпроворот — не до меня им. И на улице, хотя и встречаю подчас знакомого, какого-нибудь подметальщика или мусорщика, и останавливаюсь рядом, говорить нам уже не о чем, а мотаться по городу с другими солдатиками и только поджидать, когда заиграют вечернюю зорю, это тоже не по мне. Волей-неволей вспоминаю и этого седоволосого деда, который когда-то — поскольку и он знал пана Бартока — пристроил меня на почту. Нахожу и ворота, в которые он, помню, входил когда-то, заглядываю во двор, но там пропасть дверей, окон, деревянных галерей, поди знай, откуда он может выглянуть или — наберись я смелости — в какую дверь могу постучаться. Оказываюсь лицом к лицу с какой-то дамочкой, по-видимому, не очень богатой.

— Скажите, пожалуйста, вы не знаете, где тут живет такой седой пан? Он часто заходил в этот дом; только не знаю, жил ли сам здесь или приходил к кому в гости.

И я в подробностях описываю его, но она такого человека, хоть убей, не припоминает.

Из обшарпанной двери на первом этаже выходит на помощь ей девушка. Оглядывает окна, галереи, качает головой:

— Такой здесь не проживал.

Девушка мне, однако, понравилась. Неназойливо — я же пришел сюда ради этого пана, но почему-то он сразу перестал меня занимать — я ее оглядел. Право слово, она мне понравилась, вполне подходящая блондинка! Ей-богу, это была Лили Марлен. Хотя, может статься, ее и по-другому звали, но я ее так, правда, уже задним числом, окрестил. Во дворе мне больше делать было нечего, пан-то мой там не проживал, я вежливо поблагодарил и пошел к воротам. Однако сказал себе: в этот двор я как-нибудь еще заверну, надо будет еще разок сюда заскочить!

Заскочил как-то, но на блондинку наскочить так и не почастливилось.

Правда, не очень-то я и огорчился. Не в последний же раз на прогулке.

В казарме все ходуном ходит. Переселился я в унтерскую комнату, и, похоже, стоит мне захотеть, могу еще шибче орать. Я и ведать не ведал, черт, что у меня в таком деле дар божий! Успехи мои день ото дня все заметнее!

Конечно, кумекаю я и в других вещах. Офицеры на меня не нарадуются, чем дальше, тем больше.

Только иной раз, хе-хе, бывает, и смошенничаю. Но за руку меня никто не поймал. Правда, кое-кто из солдат и мог бы меня выдать, но я никогда никого не околпачиваю, никого никогда не заставляю вместо меня спину ломать и, хоть на улице или в казарме деру глотку, нет-нет и помогу кому, присоветую, как быстро можно разобрать винтовку, очистить ее, смазать и снова собрать, а иных учу произносить непонятное для них поначалу, да и позже непроизносимое, попросту убийственное слово: Rückstossverstärker*!

* Глушитель отдачи (нем.).

Но некоторые все равно никак не могут обвыкнуться, вечно их только шпыняют, им недосуг ни оглядеться, ни поесть, вещи их всегда в беспорядке, их кто-то вечно раскидывает, потому что у них нет ни времени, ни умения сложить все путем, они знай клюют носом... Случается, мне тоже приходится кричать, подстегивать их, но иной раз, словно позабывшись, я и подмигну кому или трюк какой покажу, а то намекну, где можно найти пусть маленький, но для пехотинца надобный кожаный ремешок или какую-нибудь на вид совсем обыкновенную, но для солдата полезную и подчас даже необходимую пряжку. Так с какой же стати солдатам выдавать мое мошенничество? Или, уж коли есть у них пряжка, зачем им хвалиться, где, как да по чьему совету нашли они эту пряжку?

Армия любит точность, и распорядок дня должен быть точным, все должно щелкать и звякать и «щелк» переходить в «звяк», все точно рассчитано по часам, минута в минуту, смотря по тому, о каком «щелчке» или «звяке» идет речь. Если речь идет, к примеру, о двух щелчках, то как надо отсчитывать — то ли это сразу «щелк-щелк», то ли это «щелк» и «щелк», и если между этими двумя щелчками нужно сделать какое-то одно движение, надобно ли сопроводить его двумя тихими щелчками посередке, или же, если речь идет о двух движениях и каждое со щелчком, не должен ли быть, хотя бы просто в уме, какой-нибудь внутренний сложенный или разложенный «щелк-щелк», которого вовсе не слышать.

А что-то можно выразить в миллиметрах, но обычно, когда глядишь вперед, необходимо, конечно, упомянуть и об угле падения, и о смертоносных эффектах, и еще кой о чем другом, о связистах и телефонистах, без которых пехота не обходится; пехотинец, особенно такой, который на марше тащится в конце батальона и несет пулемет, если и позабудет на время, какой длины полагается быть воинскому шагу, наверняка не забудет, сколько весит пулемет и какая у него скорострельность.

А понадобится кому в казарме лестница, которой, правда, за полгода никто ни разу не хватился, пришлось бы уж обой-

тись без нее — в казарме нет больше лестниц. Она давно в трубу вылетела!

Возможно, кто-то рядом со мной и усмехнется:

— Коко, ведь эту лестницу ты первый когда-то порушил.

А я и одерну его:

— Заткнись, болван!

Я, право, забыл сказать, что в казарме зовут меня не Дюрис и не Мартиненго. Дюрис — с добавлением положенного звания — используется при построении, иной раз это имя появляется в рапорте или в приказе по части, но каждый произносит его по-своему. А если кто-то хочет от меня чего-нибудь попроще, что не годится ни в приказ, ни в рапорт, или окликает меня, то называет Коко.

Гм, а почему? Да разве коротко объяснишь это?

Среди солдат — я уж говорил об этом — нет-нет да и прозвучит соленое словцо. И хотя, услышав такое грубое, резкое, а то и вовсе поносное слово, чуткие люди сперва и поворчат, пусть и не очень громко выражая свое неудовольствие, со временем их слух привыкает. Иной раз получаешь дурацкий приказ, а выполнять-то его все равно надо — он вне всяких обсуждений. Некоторым солдатам, однако, может казаться, что какой-нибудь обессиливший от собственного крика унтер-офицер, фельдфебель (многим беднякам долго пришлось втолковывать в голову не только слово “Rückstossverstärker”, но и «фельдфебель», которого они упорно величали, особенно поначалу, «фельдфигель», причем звание это во всю глотку орали, чтоб уважить его по всей форме) уж чересчур шпыняет их и мордует. Приказ они, ясное дело, выполняют — задним числом и то стараются не роптать, — но как тут обойтись без крепкого словца — вот оно и отлетает ненароком в сторону.

И, представьте, даже у деликатного человека. И у меня, не без того. Хотя деликатность, гм, в нашем деле понятие спорное! Вырвется у тебя этакое стороннее, неделикатное слово, кто-то услышит его, а если он, допустим, чуткий человек, то сразу начнет думать, что это ты его решил подаль-

ше послать, хотя он и сам порой не прочь пустить в ход пряное словцо или нечто ему подобное — сообразно своему словарю, антуражу либо окружающим его предметам. Кто-то, предположим, без ума от цветочных горшков и не нарадуется, что у него их видимо-невидимо и что в каждом что-то цветет, но если нужник в казарме доверху переполнился и я не знаю, где отхожее место, а мне до ветру приспичило, я что, не могу сказать ему, чего мне позарез хочется? Или пусть даже не хочется, но кто-то прикажет мне очистить нужник, и я возьмусь за дело, — для отхожего места, если лишь о нем речь, достанет, пожалуй, и нескольких кило хлорки или, на худой конец, когда уж слишком полнехонько, положено засыпать его и выкопать новое, но в казарме-то места в обрез, — время от времени приходится и чистить нужник, иной раз и пятерню в ход пускать, — так вот, ежели в это время кто-то пожалует, пусть даже тот самый, что послал тебя туда, и пусть у него в руке будет даже горшок с распутившимся цветком — ты разве сможешь ему сказать, что держишь в пятерне мед? Есть же такие люди, которым приходится чистить, а то и выносить из клозета по семь-восемь ушатов добра, но если ты уже чистишь, а кто-то, хоть и брезгует, заявится и начнет тебя проверять или толковать о цветке, чей запах ни тебе, ни ему не слышен, тут-то ты и взорвешься: «Ни черта не пахнет! Не те здесь цветочки!» Иной раз ты с дорогой душой залепил бы в этого бонтонного человека именно тем, что держишь, должен держать в пятерне: ну как, пахнет или не пахнет?

Наверно, тебе приходилось когда-то служить, а может, случалось и пнуть в сортирную дверь, чертыхнуться в сердцах, но тут же и прикусить язык — не услышал бы кто. А сидящий за дверью возьмет да подумает, что ты хотел его лишь поприветствовать, и в дальнейшем станет называть тебя так, как ты ему впервые представился. Только забудет добавить к имени или прозвищу последний, пожалуй, незначительный согласный. И получится: Коко!* Эй, Коко! При-

* Производное от бранного словацкого слова "kokot", имеющего оскорбительное и весьма ироничное значение.

вет, Коко! А ты в ответ и скажешь: Ну и что с того? Дюрисом я был, Мартиненго был, отчего ж не быть мне и Коко?

И вдруг встречаю ее. Не успев даже до конца убедиться, что это она, тут же припускаюсь за ней. А догнав, стараюсь шагать как можно легче, черт возьми, я же унтер!

Улыбаюсь, здороваюсь, и, хоть клыки у меня здоровущие, улыбка становится мягче, зубы ярко сверкают.

— Целую ручку! Нынче я вас подстерег! Ну как? Этот седой старик у вас не показывался?

Она покачала головой:

— Он никогда у нас и не жил! Балагур вы, наверно, сами его и выдумали.

— Зачем? Зачем мне его выдумывать? Ну а нет его — и ладно. Могу я вас немного проводить?

Ей и недосуг было раздумывать. Я двинулся рядом, но вскоре пришлось ее попридерживать.

— Вы что, торопитесь? Почему вы так заторопились?

— Нет, не тороплюсь, я и так уже дома. В самом деле, старик этот, хотя понятия не имею, про какого старика вы говорите, но ваш старик здесь не живет.

— Я правда знал его и не раз видел, как он входил в ворота. Ну ладно, хотелось просто спросить о нем. Он не родня мне. А не пройти ли нам еще немножко?

— Еще?— Она поглядела на меня, словно раздумывала.— А зачем? Пожалуй, не стоит.

— Да вы поглядите, как хороша Вена! Вон и фонари уже зажигают. В такой час она, пожалуй, особенно хороша.

— Каждый день ее вижу.

— Но сейчас она особенно хороша. Поглядите, уже и рядом засветился фонарь. До чего он красив, как хорошо светит! Посмотрите, сколько фонарей в городе!

— Да, красиво горят! Но ведь уже совсем вечер. Скоро будет поверка. Если хотите выпить рюмочку или пива, поспешите, а то не успеете.

— Лучше еще немного пройдемся!

— В другой раз. Уже фонари зажглись. Вот-вот заиграют вечернюю зорю.

— Н-да, жаль! Ну что ж, выходит, в другой раз!

Счастье не покидает меня! Опять встречаю ее. А потом все чаще и чаще, так как исподволь узнаю, где удобней ее подождать, подкараулить.

Иногда в парке, в тихом уголке или темной улочке мне удастся взять ее за локоть или обнять за плечи, но больше ни-ни — верно, у меня это неловко получается. А бывает и так, что того и гляди заиграют зорю, а я и парком-то не успел воспользоваться как надо. Тогда нарочно тороплю ее:

— В толк не возьму, сколько времени. Наш горнист — большой прохиндей. Возьмет да и поспешит с вечерней проверкой. Пойдем-ка лучше!

Мы подходим к воротам, опять стоим, я, конечно, торопил ее, но, похоже, мы напрасно спешили. Времени, правда, немного, но что, если нам еще?.. Гм, только куда?

— Ты ж говорил — торопиться, а теперь стоим тут.

— Кто знал, сколько времени. Горнист — известный надувала, но мы с ним приятели.

— Приятели? Вот видишь!

Потихоньку хмыкаю, потом подмигиваю, глядя на ворота.

— А во дворик?!

— Во дворик? Что во дворик?

— Зайдем во дворик.

— Хочешь, зайдем, но только во дворик.

Едва мы оказываемся за калиткой, как я сразу обнимаю ее за талию, она громко смеется, это чуть придает мне духу, я пытаюсь и другой рукой и уж посмелей обхватить ее, но она тут же хлопает меня по руке и еще громче, веселей смеется:

— Парень, ты же сказал — только во дворик!

— А разве это не есть — только во дворик?

— Миленький! — погладила она меня по щеке. — Ты что, не знаешь, как берут под руку? Бедняжечка! А команду направо знаешь? Я вовсе не злобная, но уже трубят зорю, тебе правда надо поторапливаться...

Вот так и хожу едва ли не каждый день на прогулку. И если б даже не было о Лили Марлен никогда никакой песенки, если б некому было сочинить ее в первую, а потом распевать и во вторую мировую войну, я все равно встречался бы с Лили Марлен, видел бы ее, когда захочу.

Но не “vor der Kaserne, vor dem grossen Tor”—«перед казармой, у больших ворот», как поется в песенке, а у простых деревянных ворот, на одной венской улочке, а фонари в Вене повсюду есть, не только у казарменных ворот.

Однако вокруг Лили Марлен увивался один флейтист, флейтист из военного оркестра, право слово, не раз я видел их под фонарем. Но с ними бывал и его товарищ, басист, поэтому я особенно не пугался. Разве что сказал себе: «Ну-ну!» Глядел я на них издали, и было мне не очень-то приятно, что стоят они под фонарем и флейтист смеется веселей моего.

Позже я обнаружил, что у него мелкие, редкие зубы. Но на флейте он был мастер играть и под уличным фонарем выдувал, ей-ей, одни веселые, улыбчивые вещи, словно играл походные марши. Флейта, конечно, и в маршах и в чем угодно другом всегда заливается трелью, но он щелкал эти трели как-то еще краше, при этом всякую минуту подымал лицо и руками взмахивал, словно хотел вознестись. Выводил он трели и смехом, и мне казалось, что он, как и другие флейтисты, только затем нос подымает, к тому же довольно увесистый, чтоб трели, которые он извлекает губами и выпускает флейтой, снова вбирать, ловить раскрытыми ноздрями. Злобиться я, однако, не мог, с ним же бывал и басист, и хоть басист был постарше и блондинки ему тоже нравились, он так не угодничал. Этому флейтисту, даром что я с Турца, я сразу же дал южное, дольняцкое прозвище. Щелкун, и все тут. Не знаю почему, но в Турце, на севере, такое имя-имечко не звучало бы. А прозвал я его так скорей всего потому, что он свистал и трелил на флейте, иногда на флейте-пикколо, а зубы у него были такие же мелкие, как и те трели, что он выщелкивал на пикколо; ну, какое же иное прозвище было бы ему под стать? Только такое, безобидное. Играл он и на

пикколо. Каждый флейтист должен уметь свистеть, трелить на флейте-пикколо. А этот парень и в самом деле трелил так, словно щелкал, и для меня прежде всего был Щелкуном. Захоти меня кто-то поправить, я, пожалуй, о его ушах подумал бы что-то нелестное. Иной раз я смотрел на них издали. Улыбался, но порой и немножечко злился.

И чего они столько выстаивают? Почему флейтист так хихикает, а басист — для басиста этот парень казался малость нерасторопным, мелкорослым, коренастым и, пожалуй, не то чтоб пузатым, а просто круглым, с чуть, пардон, я тоже, случается, ошибаюсь, с чуть оттопыренным задом,— ну а этот-то чего гогочет? Да ведь он был басист, играл на геликоне, а геликон тоже по-всякому округляется и закручивается, есть же разные геликоны и разные басисты, а этот, хотя и был не так брюхат, сколько кругл, ибо ростом не вышел, этот обыкновенно весело смеялся, выпуская из себя веселые, свистящие, как бы флейтовые тоны, он пыхтел, сопел, но нельзя сказать, чтоб геликон его фальшивил. Он выфукивал из себя смех, и всегда только вверх, хотя в оркестре, и в военном тоже, геликон — основа музыки, он должен выбирать, искать, нащупывать низы, чтоб у военного оркестра было обо что опереться: брум, брум, брум-па-па, трта-а-ара, брум, брум, брум, трт-та-ра-а-ара, трт...

Но когда они шли по городу, нередко только вдвоем, ведь я не раз их видел и хорошо знаю, что в оркестре флейта должна быть впереди, а геликон, то есть фундамент, и, конечно, фундамент военного оркестра, должен плестись где-то в самом конце, возле барабанщика, перед которым вышагивает дрессированная военная лошадка и нет-нет да и швыряет на барабан пончики, чтоб было чем, если, не приведи бог, у барабанщика сломается или вылетит из руки палочка, было чем ударить по барабану, но даже когда они шли вдвоем, без прочих музыкантов и без лошадки, без пончиков, без барабанщиков, только вдвоем, геликон и флейта, они всегда умели и вдвоем держать ровный шаг, хотя у басиста в добродушном ритме еще больше вихляла под военной формой задница...

Я с ними вроде даже сдружился. Ей-богу, сразу привязался к обоим. К флейтисту, правда, немного ревновал. Щелкун, хоть ты и дробненько, трелями, песчинками смеешься и знай этими трелями и песочком подсыпашься, Лили есть Лили, а Марлен есть Марлен! И никаких тебе фиглей-миглей!

Пусть я вслух ничего такого никогда не говорил, но Щелкун все равно то и дело подхихикивал. Он вечно хихикал.

Только и басист не отставал от него и часто, бывало, даже до времени, начинал добродушно трястись, выпуская из себя смех только носом,— иногда я даже не знал, почему он смеется. И пусть этот парень скорей сопел, чем смеялся, либо подражал ради меня или друга-флейтиста флейте, выпуская носом смех или один воздух,— этот парень мне нравился. И однажды я ему об этом сказал:

— Послушай, хоть я и не музыкант, но ты не представляешь, как я за тебя болею. Я знал пана Бартока, и он меня знал. Но, понимаешь, я и геликон в обиду не дам. Знаю, что ты из Лидержовиц, но не поэтому! Что до меня, то можешь быть хоть из Райграда или Густопечи*— мне все едино. Знаешь, мне нравится твой тон и как ты его берешь мягко, даже в маршах. Слышь, братец, хоть ты уже немолод и, конечно, заслуживал бы более высокого звания, но твой мягкий тон мне по душе.

И вдруг этот военный басист родом из Моравии, хотя и поглядывал на меня поначалу недоверчиво, вдруг этот басист растрогался чуть не до слез, правда, перемог себя — солдат как-никак — и только заморгал глазами:

— Это ты серьезно говоришь? Бог мой, я ж только бас даю, этак бормочу просто. Что еще на геликоне можно сделать?

Встречал я музыкантов и потом, когда они шествовали маршем по городу. Барабанщик дробил палочками, барабанчик гремел, а лошадка часто ржала и действительно роняла в оркестр, верней, как бы за оркестром, только для барабанщика, пончики. Но я все равно всегда с радостью глядел на их оркестр, и случалось, хоть и не должен был, марширо-

* Деревни в Моравии.

вал следом за ним, нравилось мне, что есть в нем коняшка и что среди музыкантов идет парень, к которому я немножко ревную, на флейте или на пикколо он выделяет колена, так и выщелкивает трели, вот уж правда Щелкун. Но я старался прилепиться к басисту и, вышагивая словно коняшка, радовался, что в оркестре у меня знакомые.

И даже по воскресеньям, когда я выходил на прогулку, а они как раз давали концерт на открытом воздухе, я непременно отправлялся слушать. Мне даже гулять не хотелось, я стоял и стоял возле геликона, да и когда кончался концерт, а я все еще мотался по городу, в ушах у меня непрерывно звенело, непрерывно играл оркестр, я и не знаю, как пролетало воскресенье...

Но бывали у меня и увольнительные. Иногда нарочно я брал их до утра, чтобы не надо было поджидать вечернюю зорю и торопиться в казарму.

Я был свободен, но, помотившись часок-другой по улицам, пусть сначала и радовался свободе, вдруг спрашивал себя: зачем мне эта свобода? Что я стану с ней делать?

Горнист сыграл вечернюю зорю, а я все еще не знал, куда податься, на улице сразу вдруг не с кем стало поговорить, никто мне не встретился — я долго-долго топал один, потому что прошел все улицы, словно одну-единственную длинную венскую улицу, откуда видна была Святостефанская колокольня и другие колокольни венских церквей, где слышен был тридцатипудовый колокол, я мог увидеть даже императора на коне, коснуться ногой каждого мостильного камня, остановиться у каждого ворот, найти на них ручку или кольцо, и так как я шел, шел и шел, казалось мне, хоть я был и один, казалось мне, что я иду еще с двумя в шеренге — особенно ночью, когда я чувствовал себя совсем сиротливо, возле меня всегда шагал Дюрис, тут же рядом Коко, а плечом к плечу с Коко или Дюрисом непременно был и Мартиненго...

Где же этот Щелкун? Где мой басист? Останавливаюсь под фонарем, под фонариком, подымаю голову, улыбаюсь,

потом поворачиваюсь и направляюсь к воротам, в которые когда-то входил тот седой старикан.

Вхожу тихо во двор, потихоньку пробираюсь к двери, за которой живет эта блондинка, но, даже не успев переступить порог, на кого-то натыкаюсь.

— Прах побери, никак Щелкун! Чего тебе здесь надо, Щелкун?

— Хе-хе-хе! Да ничего, блондинка меня не пускает.

Мы выходим на улицу, но, пройдя два-три шага рядом с ним, я невольно обнаруживаю, что и до этого на улице был не один; в парке что-то шевельнулось, но сперва кто-то засопел:

— Дураки набитые, хотя и хожу в оркестре позади, а сейчас вот вас поджидаю. Дай, думаю, разочек чихну на вас. И вот, фу-фу-фу, любопытства ради уселся тут, а потом невмочь мне было поднять свой геликон...

Иду с ними. Я радуюсь, что могу их проводить. Спокойной ночи, ребята! У меня сегодня увольнительная! Гм, увольнительная, и еще в Вене, хе-хе-хе, одно лишь хе-хе-хе, и опять и опять по длинной-длинной, пустой улице...

Стучусь в дверь. С минуту прислушиваюсь.

— Послушай, Лили Марлен, я опять здесь, это опять стучит Щелкун. Я тоже Щелкун и тоже умею хихикать. У вас ворота не заперты. Даже кольца на них нету. У меня сегодня увольнительная, мне спать негде.

Из-за двери ни звука.

— Послушай, не будь дурой. У меня увольнительная. Знаю, что сюда и Щелкун ломился. А не откроешь, я и стучать не стану.

Но по-прежнему — ничего.

— Не открываешь? Хе-хе-хе! Но все равно! Раз у меня увольнительная, не тащиться же мне в казарму или куда-нибудь в Турец в хижину к пастухам. Если за дверью светелка, скажи хотя бы этой светелке, пусть отзовется!

И снова жду. Наконец дверь открывается, и я чуть не получаю затрещину.

— Ну иди, дуралей! Дрыхни! Все кому не лень лезут сюда, а я ведь еще и работаю! Если у тебя увольнительная, можешь тут дрыхнуть...

Затолкнула меня в темную комнатушку, а сама куда-то исчезла. Думал — ненадолго. Уж колипустила меня и это ее комнатушка, то наверняка воротится сюда.

Где стул? Должен же быть у нее какой-нибудь стул. На кровать, что ли, сесть? Нет, пока не сяду. Выглядываю в дверь: где ты? Право слово, скорей-всего улизнала куда-то!

Сажусь на кровать, но я ведь солдат — сам не ведаю, как забылся сном...

Так повторяется раз и другой. Кроватка свободна. Сплю на ней, ну а поскольку солдаты горазды подрыхнуть и никогда, никогда не могут до конца отоспаться, мне, наверно, только снится, что эта чертовка — не иначе как постель у нее в другом месте, может, она с кем-то уже давно спит, а то просто со злости, ведь я тоже чуточку как бы подтолкнул ее к этому, — ладится с кем-то спать в чужой постели.

Вот негодница, разве у меня нет казармы, а в казарме хошой, старой кровати?

Хотя мне там... да, мне там не хватает перинки. Но все равно! Дело не в перинке, дело не в казарме и не в кровати, мы ведь в Вене, в таком большом городе и в такой маленькой комнатушке, боже мой, неужто в таком большом городе мне нельзя прийти в какую-нибудь другую, пусть и более бедную казарму? А вот же стоит мне влезть к кому-нибудь в комнату и даже прямо в постель, как я сразу всегда засыпаю...

Однажды я и правда спал у нее, а она вдруг — шмыг — ложится рядом. Сперва делаю вид, что ничего не замечаю. Да разве долго так выдержишь? Потихоньку поворачиваюсь, рука у меня невольно начинает блуждать...

— Парень, поосторожней! — одергивает она меня опять. — Ты же говорил, что хочешь только выспаться.

Гм, пускай в постели и не поладишь и сразу или чуть пого-

дя отвернешься, тихо заснешь или только попытаешься уснуть, пускай и не выспишься, гм, а все равно...

Вот мы и спим вместе. Когда до вечерней поверки, когда и ночью. А бывает, и всю ночь. По всему видать, мы все больше с ней сходимся, иной раз я и в казарме начинаю говорить, что в армии мне все обрыдло, о флоте и то больше не вспоминаю. Ни о чем. Особенно ни о чем таком, что связано с армией, казенный харч мне противен, я и сам себе противен: весь провонял цейхгаузом и нафталином, вонь так въелась в меня, что кажется, уже и не выветрится. Что, если сбросить с себя эти военные тряпки и напялить пускай более грязное, но все же гражданское платье! Что, если и мне наняться куда на работу — убирать свеклу, кукурузу или хлеб, интересно, сколько бы мне примерно досталось натурой с копны? А помогай я на винограднике, сколько бы мне перепало от бочки? Право слово, столько я бы даже не выпил. А впрочем, почему обязательно сразу все вылакать, зачем сразу? Завернул бы я в одно местечко, в другое, у нас повсюду, ей-богу, просто загляденье! Моравия, Силезия, а в Турце до чего хорошо, клянусь богом...

Вот тебе и «клянусь богом»! В Сараеве, как гром среди ясного неба...* Вечерней поверки уже не бывает, сплю одетый, обутый, ремень и то нельзя расстегнуть, всю ночь одолевают думы, не знаю, сердиться ли и на кого, не знаю, одну ли ночь не позволят спать или несколько ночей, вдруг не остается времени даже перемотать портянки, но все равно из головы не выходит этот сербский студент Гаврило Принцип... А потом, потом уже только — шагом марш!

Батальон за батальоном. Пехота и артиллерия, кони и солдаты, такие части и разэтакие, повозки с амуницией и для раненых, санитары и кухня, я даже не представлял себе, что в армии может быть столько санитаров и кухонь, повсюду

* Имеется в виду убийство (28 июня 1914 г.) наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и его жены в г. Сараеве, послужившее поводом для развязывания первой мировой войны.

одни солдатские скатки, баклаги — уже только солдатские походные котелки, фельдфляжки — ничего больше, как полевые фляжки. По дорогам ползут обозы, катятся яблоки, колеса грохочут, повсюду тьма ящиков и касок, всех и не охватить взором, невозможно охватить, только вдруг повсюду, на всех дорогах и по бездорожью — одно сунешь под брезент, другое вскинешь на спину, идешь за повозкой с амуницией или просто за копытами, — повсюду сплошняком эскадроны, кавалерия или инфантерия, уланы и гонведы*.

Железная дорога только и знает, бедняжка, что пыхтит, вагоны тарахтят, толкают друг друга, торопятся, колея того и гляди захлебнется, а кто-то уже успел найти — не каждому же дано схватить и казнить Гаврило Принципа, — пока он только нашел на каждой десятой, а затем и на каждой третьей станции знакомого или незнакомого железнодорожника, чтобы испробовать на нем пулю, а то и петлю. Железная дорога знай пыхтит, пар без передыху шипит, а где-то, где-то крутятся колеса, вращаются шатуны.

Но все равно колея не справляется, временами не справляются даже улицы, кое-где и обыкновенные дороги, привыкшие лишь к нескольким пешеходам, к скрипу обыкновенных окованных кузнецом тачек, с какими хаживали в поле и с поля, привыкшие к шлепанью босых или обутых ног, эти обыкновенные дороги и то не ведают, как все проглотить. И все только визжит и скрипит, в городках и городах ходят жандармы, а по деревням десятские стучат в окна, звякают даже там, где и окна-то нет. Просыпаются взрослые и дети, хотя от голода вечером и уснуть, поди, не могли, и вот опять просыпаются, снова их кто-то будит, или им это только чудится? Жена плотогона или дротаря**, отчаявшись убаюкать малыша, хлопнет его по губам: «Спи, баловник, тата уходит, да скоро воротится!» И ребенок, быть может, только потом все поймет, поймет, что мать шлепнула его тогда по губам

* Гонвед — название венгерской армии в середине XIX — первой половине XX в.

** Бродячий ремесленник, оплетающий проволокой глиняную или фаянсовую посуду.

лишь потому, что отец его однажды взбунтуется и погибнет в Крагуеве, то бишь в Крагуеваце...*

И вот уже вышагивает по городу наш батальон и вся наша «маршкомпания».

А оркестр наяривает — аж дух захватывает! Корнет-а-пистоны, ей-богу, верещат пронзительнее, чем когда бы то ни было, и, высекая остро наточенные тоны, посылают их вперед и вперед, кларнеты щебечут, Щелкун так и щелкает, рассыпается трелями, бас-кларнеты переливчато заливаются — это им поручено вести основную мелодию, они должны все связать, словно бы сплести, испечь рождественскую плетенку, словно бы уже заранее обещая, что Вена, так же как и Будапешт, покажет себя и что каждый, особенно бедный парень, пусть даже неграмотный, получит вместо лавровишни лавровый венок, а уж лавровый листок всенепременно, из Остии — ость в глаз, в Герцеговине — луговину, из Черногории — черногорку, а из Сараева хотя бы ножичек в виде рыбки, который когда-то так и назывался «сараево».

Прости меня, горлинка, что горло перехватило. Я не успел и проститься...

Остальное вы уже знаете. Выложил я все в самом начале. Вот ведь как бывает! Если в казарме получишь звездочку и наловчишься щелкать каблуками, на фронте схлопочешь вторую, а уж после второй — непременно и третью.

Я не робкого десятка. Подчас казалось, что и винтовка мне ни к чему. Была у меня увесистая орясина, и при надобности я кидался в драку если не первый, то всегда среди первых.

* Имеется в виду Крагуевацкий мятеж (июнь 1918 г.), поднятый словацкими солдатами 71-го тренчинского пехотного полка. Вернувшиеся из русского плена и переведенные в запасной австро-венгерский батальон, размещенный в сербском городе Крагуеваце (словацк. Крагуево) — центре народно-освободительного движения сербов, — отказались идти воевать на Южный фронт. Мятеж был подавлен, сорок четыре солдата расстреляны.

А иной раз, особенно когда видел, что мужчины, а то и просто молодые, трусоватые парнишки, совсем недавно попавшие на фронт, пытаются отстать, тушуются, я тоже отставал, но всего лишь на минуту, а потом бросался вперед и всегда с таким криком, да еще с этой орясиной в руке, что каждого — друга или недруга — непременно приводил в ужас...

Конечно, те, что знали меня поближе, не пугались. Хотя часто, все больше в часы затишья, я задумывался, и уж тогда мне бывало не до разговоров. Я думал: куда я несусь? Кого боюсь? Неужто и впрямь того, кто несется навстречу мне? А не наводит ли на меня куда больший страх тот, что подгоняет меня сзади и которому я помогаю гнать других? И не то же ли самое испытывает и тот, кто передо мной и кого я должен уничтожить? Уж коли мне обязательно нужно быть здесь и иначе нельзя — ничего тут не придумаешь, — почему я должен не только по принуждению, но и по доброй воле, ради того, чтобы выставиться и дотянуть до фельдшвицеля, почему я должен другим помогать работать овчаркой?

Иногда, особенно когда нам дают больше рома или спирта, я шагаю с этой орясиной, размахиваю ею как дирижерской палочкой и, пусть время от времени о мою каску лязгает пуля, распеваю:

Хоть свинья не любит строя,
держит шаг и прет вперед,
в каждой луже дом построю,
за жратву солдат поет.

Моряки когда шагают,
гоп-ца, гоп-ца-царя,
то от края и до края
веселится Адрия.

Все матросы распевают,
а на море пелена,
рехцум, кердум, ундерфайер*,
носит нас еще волна...

На меня редко кто злобился — ведь когда снова шли в атаку и нужно было работать вовсю, я всегда жал на всю же-

* Искривленные немецкие команды.

лезку, а иначе и нельзя было, по крайней мере мне так казалось, что иначе нельзя, нам ведь это с самого начала вбивали в голову, да я и сам вбивал это в чужие головы и, желая им показать, что я тоже парень не промах, несясь впереди других.

Должно быть, мне везло. Поначалу, во всяком случае. Встречались и посмелее меня. Были и честолюбцы, которым хотелось звездочку, бляшку, какую-нибудь медальку, хотелось сравняться со мной, да не тут-то было.

А вот тот, кто еще в казарме получал со мной первый раз портянки и учил меня кричать, но, поняв позже, что я умею кричать лучше его, таил на меня злобу даже в поле. Увидев, что, кроме похвал, перепадает мне иной раз и какая награда, вообразил себе, что это лишь потому, что я всегда впереди и таскаю с собой пусть не маршалский жезл, а обыкновенную орясину, которую мне и пришлось-то поперву ухватить из-за того только, что мы оказались в настоящей «маршалашке», — повсюду вокруг меня пыхтели и ревели люди, били друг друга куда ни попадя, душили, кололи штыками, ножами, походными лопатами, кто как умел и сообразно тому, что под рукой было, всяк колол, крушил, рассекал головы, вспарывал животы или перерезал горла, я ж ухватил суковатую палку, верней, дубину, а поскольку мне казалось, что с ее помощью я спас себе тогда жизнь, то таскал ее с собой уже и потом, и никто мне этого не запрещал...

Так вот и тот, о котором я говорю, тоже решил попробовать: вскочил и понесся вперед, размахивая еще большим батоном.

— Коко, думаешь, я тебя не обгоню? Урра-а-а, у меня тоже дубина!

Сердяга! В ту же минуту он кувыркнулся и больше уже никогда не поднялся.

А мне тогда казалось, что я научился летать. Так нас гнали. Шли на Белград, но я был и в Карпатах и участвовал в Зборовской битве*, стоял и у Галиции и даже не ведал о том,

* Зборовская битва — первое сражение чехословацких легионеров в России, которое произошло 2 июля 1917 г. в городке Зборов в районе Тернополя (ныне г. Тернополь).

плескался в альпийских реках, но не знал, где они, эти Альпы.

Мало-помалу я все постиг. Но тянулось это до невозможности долго, день проходил за днем, в тылу меж тем собирали новые силы, обувь, одежду, провиант. Каждого нужно было запечь, каждого высосать, выжать — рабочего и крестьянина, женок и оголодавших детей. Война как-никак, каждый должен оторвать от себя последний кусок! Смотри-ка, у вас два колокола! Или только один? Так давайте один! Какого черта еще трезвонить? Да и звонарь пусть отправляется! На фронте сгодится! По скольким уж отзвонили. Там всему быстрее приходит конец, люди мрут как мухи, конечно, там тоже нужно звонить, но не по каждому в отдельности, а сразу по многим. Люди не погибают уже только в окопах, в пещерных убежищах, в атаке под пулеметной очередью, под огнем заграждением, в сутолоке, в «маршалкаше», на колючей проволоке... Многие падают уже просто так, от слабости, от голода, от усталости, простуды, поноса, лихорадки, от невесть каких хворей. Скоро пожалует, подымет руку итальянская хворь, малярия: вот я, уже здесь!

Целыми днями торчим в окопах. В погоду — в непогоде, все на одном и том же месте. То одна, то другая сторона и пытается оттеснить неприятеля, обрушив перед атакой на его окопы железо, но когда пробует рвануть пехота, плотный пулеметный огонь пригвозждает ее. В окопах прибавляется мертвых — их не успевают оттаскивать, ряды носильщиков тоже скудеют. Отовсюду несет воню, и хоть ты уже ко всякой вони привычен, случается, ежели запахи каким-то странным образом перемешиваются, и пугаешься: а не попытка ли это поморить вас ипритом? Может, подготавливали-то его ваши для других, да ветер отнес его не в ту сторону. Иной раз пробежит мимо крыса или целый крысиный батальон, они, пожалуй, даже не очень торопятся, идут уверенно, ибо на каждом шагу им уготован ужин.

Временами нас сменяют, потом снова настает наш черед. Ряды наши тают, изредка кто-то и прибывает, чаще всего это какой-нибудь безусый паренек, что через два-три дня

гибнет, обычно лишь потому, что молод и не в меру прыток, высунет голову, и поминай как звали... Встречаются среди нас и унылые брюханы. Говорю так не потому, что у них здоровенные животы, немалые годы и, верно, большие заботы: дома-то у них дети,— но именно эти годы и заботы, которые давят теперь на более слабые плечи, превращают и бедных людей в брюханов... Гибнут и брюханы!

Мне б даже не к чему все замечать — я ведь вот-вот выйду в дрекфебели! Как бог свят, не сегодня-завтра я дрекфебель! Мое дело только за порядком следить, так на тебе: то тут, то там о кого-то спотыкаешься. Провались все пропадом, парень, уже и тебя!.. Дьявольщина, а здесь кого? Здесь еще нет никого, а я уж знаю — и его укокошат!

Все тянется без конца и без края. День за днем торчи в окопах, а если тебя и передвинут, так лишь затем, чтоб отступить, или атаковать, или погнать тебя еще на какое-нибудь новое свинство.

Среди нас есть совсем безусые парни, но и дядья, которым уже за пятьдесят перевалило.

Среди молодых был некий Метснер. Ну и навозился я с ним поначалу! Каждый труп приводил его в ужас.

Когда я первый раз подвел Метснера к пулемету и указал участок, какой ему держать под наблюдением, он только и делал, что оглядывался. В нескольких шагах от него лежал солдат, которого хлопнули еще в предыдущую смену, но убрать его было некому. Да, в Метснере явно было больше страха, чем в других новичках. Боялся он не только неприятеля, что грозил ему гибелью,— он же пока, по крайней мере вблизи, его не видал,— похоже, он куда больше боится мертвого солдата, хотя и одетого в такую же форму, что и он.

Я пытался его успокоить, подбодрить, придать ему духу. Даже в окопах и то всякий день не умирают. Бывает, проходит день, два, неделя, и все ничего! Поухмылялся я немного, да и оттащил труп подальше, чтоб парню не так было боязно, и, перед тем как уйти, заверил его, что за мертвым придут, уволокут его и закопают.

Но попотел я с этим трупом изрядно. Вечно голодный и невыспавшийся, я тоже ослаб донельзя. По ночам меня ели поедом вши, и хотя первое время я не хуже других умел с ними управиться, теперь же — зачастую и днем — у меня не было сил ни чесаться, ни давить их.

А до чего становилось хорошо на душе и враз шагалось бодрей, когда в нос ударял запах кофе или даже когда просто о нем заговаривали! И пусть я всегда был замаранный, и не только грязью, умыться-то было негде, я и вовсе оживал, когда шлепали мне на крышку походного котелка, а то и в котелок, немного баланды, про которую обычно, если я не мог отгадать из чего она, говорили, что это говяжья кровь.

Не раз я уверял себя, что и сам, пожалуй, во многом виноват. Даже на фронте я мог, наверно, быть среди тех, которых знал в детстве или с которыми легче было бы столковаться. Ведь и у меня было детство, были товарищи, когда-то я был даже церковным служкой. Узнали бы меня дома другие служки или какой-нибудь подпасок, пастушонок, овчар, которому я когда-то помогал загонять овечек в кошару?

Бог мой, я же с Турца! Турчанские, липтовские, оравские и тренчинские ребята, все эти словацкие парни с северных гор и южных равнин — где только не воевали они! Не только на балканском, восточном, итальянском и еще невесть каком фронте, а даже в разных полках, батальонах. Но в каких бы полках они ни служили — в тренчинском, братиславском или гонведском, муштровали-то их и учили ходить по струнке в прешпоркской, тренчинской, нитранской, кошицкой или еще какой казарме, где на пеших стрелков из Словакии иначе, совсем иначе орали. Словацкие пехотинцы были повсюду, на всех фронтах, однако мне часто думалось, что если уж суждено мне сгибнуть, то лучше...

Сколько я перевидел казарм, сколько прошлепал дорог, сколько истоптал кукурузы, хлеба, вымесил грязи! Кто видел меня под Тарнополем или у Галиции? Кто из близких, кто из знакомых? Кому рассказать, как я ползал в Альпах?

Кому рассказать, до чего холодны альпийские реки, ручьи? Кто знает обо мне теперь? В бога вашего дивизионного, кто знает, где я?! Если и сдохну, кто, когда и где найдет меня?

Я невообразимо устал, и меня поедом едят вши.

Полнейшая кутерьма! И в этой кутерьме мы долго-долго ждем, и кажется, что, пожалуй, нет нигде ни черты, ни полосы отчуждения, но противник так близко, что, наверно, мы ходим в одно и то же отхожее место. Сперва зыркнет враг, там ли я, или я гляну, не облегчается ли враг ненароком, и если нас никто не понукает, если ничего не происходит и не сваливается какой-нибудь приказ с той или другой стороны, то есть действительно ничего не происходит, так с какой же стати нам друг другу мешать? Сбегаю-ка я лучше еще куда!

Нахожу нужник в другом месте, но, оглядевшись, вижу, что возле меня присел гонвед. Ну и ну, как нас только не перемешивают! Уж коли ты из венского, может, даже отборного полка, то враз рядом с тобой и «другая элита»: какаешь бок о бок с гонведом. Бог знает кого тут только не встретишь и как все здесь перемешано!

А гонвед вдруг как заржет и хлоп меня по плечу:

— Хе-хе, кайзер, черт побери, где твой батальон? Все еще какаете? Ты случаем не из Фолкушовой?

— Нет, не из Фолкушовой. Но и неподалеку от нее.

— Скажи еще, что тебя зовут Дюрис?

— Ну, Дюрис.

— Так, стало быть, мы соседи. Если угодно, я Багель, но служу у гонведов. Вот хреновина, мы уже всю фасоль слопали и все лафеты у нас полетели к чертовой бабушке. Шли за нами бронированные части, хе-хе-хе, ребятам уж не с чего было с... Если ты с Турца, кайзер, не знаешь ли, где тут легионы*?

* Имеются в виду чехословацкие легионы, сформированные на территории стран Антанты чехами и словаками, проживавшими в этих странах до первой мировой войны и ставившими своей целью государственную независимость Чехословакии. Подобные легионы создавались с августа 1914 г. и в России, пополняясь чешскими и словацкими пленными из рядов австро-венгерской армии.

— Отчего ж не знать? Только толку-то? А хочешь, и перекинуться можешь.

— К итальяшкам? Хе-хе-хе! Думаешь, тебе сразу предложат крышу или поленту*? Держи карман! Я маленький красный! Хе-хе, никого не вижу поблизости — ни гонведов, ни этих ребят из бронированных. Придется догонять их. Дюрис, я красный! До скорого в Турце!

Не волнуйтесь, и мой черед придет! Вот оно и пожаловало! Со всех сторон прут на нас итальянцы и черт знает кто еще с ними и за ними. Командир орет, его ор и меня достает:

— Остановить! Любой ценой — задержать!

Свинья, чего же тогда сам деру даешь?

Но я уже ношусь среди ребят и выкрикиваю то же самое:

— Остановить! Братцы, любой ценой мы должны остановить противника! Приготовиться к «маршалкаше»!

У пулемета, бог мой, опять этот несчастный Метснер! Дрожит весь, изо рта слюни текут. Ору и на него. До нынешнего дня я его все жалел, хотя и гонял до седьмого пота. Мать честная, от этого парня все равно толку не будет! Отталкиваю его от пулемета.

— Метснер, беги! Беги! Я попробую их удержать!

Но передо мной и, пожалуй, даже вокруг меня солдат чужих рой несметный. Оглянуться времени нет, но похоже, из наших и поблизости уже никого. Черт знает, то ли поразбежались, то ли прихлопнуло их, а я и впрямь не поспеваю, никак не могу такой рой пулеметом поймать, черт знает, или заело пулемет, или все уже израсходовал... шарю вокруг себя, а потом враз вскакиваю, авось еще успею драпануть...

Не успел. Опамятовался я в лазарете.

Гм. Опамятовался! Если бы я мог сам на себя посмотреть, навряд бы узнал. Сперва думал, что и не оклемаюсь вовсе. И на том успокаивался. Но брат милосердия постепенно сдирает с меня повязки и все нахваливал: дескать, раны хорошо подживают и я, считай, выздоравливаю. Я уже и сесть

* Кукурузная каша.

мог, да что толку? Нога у меня только одна, а из другой брат милосердия едва ли не каждый день деревянным шпахтелем гной выскабливает, выковыривает. Я при этом всегда на крик кричу, а потом отупеваю. Может, и вправду хотя бы одна нога идет на поправку.

Тем временем я узнал, что война кончилась. И меня перевезли в другой лазарет, якобы лучший, дали мне там костыли и стали учить ходить. Сперва не получалось, но меня заставляли:

— Учись! Ты тут не один. Другим еще горше пришлось!

Стало быть, война кончилась. Какие солдаты и конца не дождались — разбежались прежде, чем их распустили. А мне-то как?! И куда? Кое о чем я узнал только поздней. Боже мой, когда-то сам был почтарем, а вот почта о многих вещах слишком поздно меня известила.

О Крагуеве я тоже узнал гораздо поздней. Узнал, что там были ребята семьдесят первого тренчинского полка, дротари, плотогоны, мол, солдаты с восточного фронта, кто знает, может, и они стояли в Карпатах, под Тарнополем, на равнинах Галиции, попали в плен к русским, а когда из плена, — еще бы, революция! — когда из плена их выпустили и они решили, что наконец едут домой, тут вдруг снова Крагуево, Крагуевац, прах его побери!

Дьявольщина! Прикончат людей, а они скорей всего и не ведали, в каких местах были, не знают, почему погибли и за что. Ежели история не умеет точно считать, ежели затеряется где-то приказ, какое-то плевое военное донесение или почему-то просто захотят его утаить, никто даже не узнает, черт побери, кто, отчего и как поднял мятеж и погиб, никто не узнает, было ли их в самом деле сорок четыре или, может быть, сорок шесть, 44 или 46? Одно лишь точно — это были солдаты семьдесят первого венгерского пехотного полка, тренчинского полка дротарей и плотогонов.

Но и об этом я узнаю только поздней. Хотя у меня и были

знакомые из-под Тренчина. И товарищи оттуда были. То ли из Станковиц, то ли из Бошацы. А может, из Земянского Подградья. Конечно, знавал я и тамошних солдат, что не служили в семьдесят первом пехотном полку. А вот что я там не служил — ужасно обидно. Боже правый, столько я колобродил по свету, так что стоило остановиться где-то под Тренчином? Почему я не служил в том полку, почему не был вместе с тренчинскими пехотинцами? А если бы и попал в плен, то где? На восточном фронте! Их взяли в плен и отпустили! А взбунтовались они только когда оказались в Крагуеваце. Черт возьми, почему я не знаю, скольких там расстреляли! Сорок четыре или сорок шесть? Кто ошибается — история или сами солдаты? Если солдаты и ошибаются, то не потому ли, что там не было с ними какого-нибудь фельдшвицеля?

Когда дело касается такой точности, я и спустя годы еще корю себя, что не был в каком-то ином месте фельдшвицелем. Если их там было сорок четыре, я не хочу присоединяться к ним только ради того, чтобы стать сорок пятым. А если их было сорок шесть, если затерялся военный приказ или кого-то пристрелили в сторонке, я не хочу быть лишним, я хочу просто позвать тех двух на помощь: скажите, черт подери, скольких же в этом Крагуеваце хлопнули?

Мне, например, не все равно, где сколько ног! Но обо всем я узнаю много позднее...

Конец войны. И я иду. Выгнали меня. Есть ли ноги, нету ли, ступай! И я иду. Есть ли у тебя товарищи или нет, ступай! Иной раз какой-нибудь приятель и крикнет тебе: пошли! И я все иду, иду. Иной раз и проглочу слово — один бог ведает, на каком языке к кому обращаться. А где хоть и проглочу слово, да улыбнусь, как бы говоря: «Братцы, я ведь иду, не бойтесь, я тоже иду! Рядом со мной, черт подери, все время кто-то подышает от малярии! Но я иду!» Может, только скажу себе: «Бедняга! Малярия! Иду! Когда Дюрис, когда Коко, когда Мартиненго. Ребята, хоть я и на одной ноге, а пошли. Шагом марш, хотя вы и без сил, малярия не малярия,

надо идти, не подыхать же по дороге домой, а нету сил ни у Дюриса, ни у Коко, так пускай поможет Мартиненго!..»

Представьте, я даже не заметил, когда и где перешел границу.

Иду себе и вдруг уже издали вижу, что, пожалуй, и меня кто-то поджидает, что уже кто-то издали меня жадно высматривает и никак не дождется. За каждым моим шагом следит. Вот те на, кажись, тетушка!

— Сыночек мой,— улыбается она мне во весь рот.— Солдатык мой золотенький! Кажин день поджидая тебя. Двужды на неделе пеку маковник. Мак для тебя собирала. Ах ты дурень, и где ж пропадал ты так долго?

— Долго, матушка!— Господи, я уж и говорить разучился!— Матушка, я уже не солдатык!

— Ты-то не солдатык, сынок?— Она сует мне в карман маковник.— Ох и долгонько я ждала-поджидала, двужды на неделе маковник пекла, сыночек, ты для меня до самой смертушки будешь солдатом.

А меня тянет все дальше и дальше. Ведь и я когда-то на божий свет родился. Что с того, что отца не знал и что рано мать померла?

Я все иду и иду. В кармане у меня маковник, но не сразу, хе-хе-хе, я его и пробую...

А я и не знаю — прости меня, горлинка,— не знаю, где дом мой, не знаю, где что приключилось, не знаю, что и дома тем часом поделалось, и потому недосуг было за всем уследить, не знаю, где что приключилось!..

Ну и ладно! Дорога научила меня, прах ее подери, ходить на костылях! Нежданно-негаданно я в Турце. Бог знает почему. Кто-то уже успел обзавестись табачными лавками*,

* Многие легионеры, перешедшие на Западном фронте на сторону армий-победительниц, после войны получили в собственность табачные лавки, трактиры и тому подобные заведения.

а у меня по-прежнему ни кола ни двора. Я только Дюрис, и ни черта больше. Некому было вовремя надоумить меня переметнуться к противнику, выучили меня быть только заправским служакой!

Господи, а поначалу мне казалось, что я невесть какой дошлый малый!

Кой-кто обзавелся уже табачной лавкой или корчмой, а если отец у него дубильщик, так и шкурками, шинком или дубильней. А у меня что было? Тащился я домой, но сам не знал, зачем туда иду. Может, мне туда и незачем было топать. Я же всего-навсего Дюрис: разве кому в Турце известно, что где-то меня по-другому звали? У моего отца ни в Турце, ни где поблизости не было ни валяльни, ни дубильни, ни лесопилки, ни фабрики, я только Дюрис, и мой отец — хоть я и кланяюсь ему в ноги, — мой отец у нас в деревне был только татка. Но я и этого как положено не узнал. И все же я иду. И хоть иду на костылях, не спеша, наверно, кричу уже издали.

А может, и нет. Может, только язык кажу. Просто хочется знать, где я жил. Пусть и прихожу домой слишком поздно, а точней, уже после того, как войско все успело разграбить.

Кто знает, может, мне просто очень захотелось повидать бачу, что взял меня когда-то в подпаски. Хоть он и прогнал меня, а все равно хотелось снова его увидеть, и, верно, поэтому я понуждал костыли шагать до самого Турца.

И бача мне обрадовался, дал мне поесть, ночлег предложил. Была пора жатвы, хотя в Турце особой жатвы и не бывает. Но все равно страда была в самом разгаре. Над Острой и Толстой, да и над Пекаровой небо было усыпано звездами, и все они светили так ярко, словно бы кузнец швырнул их туда прямо с наковальни, а его ученики, начинашки, которым помогал и подпасок, как бы украсили небосвод узорами. И откуда-то доносился запах ночных фиалок, которые кто-то давно завез в Турец из России. До чего же красиво вокруг! Господи, война кончилась! Может, потому все такое красивое. Почему бы Турцу тоже об этом не знать? И почему, чтоб на небе это не было видно?

— Бача, я думал, что мы еще заночуем в той старой хижине, потому я к вам и явился.

— Какая тебе хижина! Я и подняться к ней, считай, не смогу, пришлось бы ночевать в другом месте.

— Или хотя бы на сене. Но у вас на сене, под вашей крышей. Только вот ноги забыл я в Италии. Заберусь ли теперь на чердак? Я бы теперь не сумел попасть даже на небо.

И он — бедняга и впрямь был очень стар, да еще измучен пузырем и простатой — вдруг меня пожалел.

А я стоял возле него, мочился и глядел на звезды. И под этим звездным небом защемило у меня сердце: ведь мне уже никогда не обуть башмаков — теперь они мне без надобности, — никогда не взойти ни на Толстую, ни на Плешовицу, когда-то — я был еще мальчишкой и только учился взбегать на пригорки — она была совсем голая, но с тех пор заросла. Как хорошо бы взойти на нее и поглядеть на молодые деревца, которые посадили там чьи-то руки. Или они выросли сами? Хорошо бы на все вблизи поглядеть, хотя бы ночью побывать в знакомых местах, погладить там землю: «Земля моя каменистая, погляди, какие у меня ноги!»

И вдруг передо мною Мажарна; я увидел себя еще мальчиком, как я бегу, бегу, сперва вдоль Гадерской долины, а дальше по Известковой или по Конскому долу и вдруг, господи, словно обеими дорогами сразу, будто я и вправду ужасно спешил или будто хотел обнять и одну и другую дорогу, потом иду все медленней, кажется, что у меня все еще свободны ладони, я обнимаю ими колени, чтобы мне легче было идти. Вдруг передо мной вырастает высокая седая скала, господи, ведь это Мажарна, я иду среди сталактивов, и чудится мне, что слышу знакомые голоса, окликают меня и эхо, чудится, что многие окликают меня... Господи, сколько же их окликает меня разом!

Мажарна! Дупна! Да, Дупна тоже скала. Когда-то в детстве была совсем рядом! И хотя не раз она мне казалась далекой, а теперь после стольких лет вроде должна бы приблизиться, она вдруг опять от меня отделилась, и тропки уже не

скачут друг за дружкой.

Из Дяновой можно пройти в Грбу иль Градок, затем в деревню Борины, оттуда в Блатницу, через Кут, мимо Фолкушовой завернуть в Нецпалы, остановиться у Яношиковой скалы* — только этот путь для меня слишком долог.

Но все равно из Дяновой через Старины и Ласкар в Валентовую, вдоль той маленькой березовой рощицы, где когда-то бывали гулянки, — ведь нигде поблизости не встретишь березки; достаточно было услышать волынку или хотя бы одни цимбалы, как мне чудилось: из рощицы вприпрыжку бегут те самые девицы, что потеряли сапожки в росе-росице, вечно, вечно, но и чудесно выстаивают они в уголке и танцора ждут себе, нет-нет и шепнут что-то, иной раз заляются румянцем, а потом весело закачаются в танце...

Я знаю свой край. Долины и пригорки, лесные стежки-дорожки между деревнями. Домики и домишки, словно стайки белых цыплят.

Живи вправду и еще нынче младенец Иисус, он спустился бы или съехал зимой на салазках и еще краше выбелил бы каждую хатку, обвесил бы ее сосульками. Каждая хатенка звенела бы, как цимбалы. А летом — лучше лета ничего нету — в Турце или над Турцем словно нарочно сломалась бы ось в небесном возу** или телеге, чтоб если уж не человек, так хотя бы господь бог, именно наш турчанский господь бог — гоп-ля прямо по Млечному Пути! — мог съехать на санях, на белой медовой акации и разукрасить, а днем и погладить дранку церквей, колоколен и даже обыкновенных хибарок, в которых дремлют убогие сонливые очажки.

Я дома. Где-то на пригорке овчарня, где точно, не знаю, но она там непременно, овечки подремливают, колокольцы на шеях у них уже не звенят, но я их по-прежнему слышу, слышу даже, как овцы жуют.

Конец войне. Господи, война ведь уже давно кончилась. Никак слезы у меня на глазах...

* Яношик Юрай (1688—1713) — «благородный разбойник», легендарный защитник бедных и угнетенных.

** Воз — созвездие Большой Медведицы.

Я был и в родной деревушке, только там меня никто не узнал. Кое-кто, может, просто не захотел узнавать — подумал небось, останется вот такой калека в деревне и будет ходить по домам гостевать. Откуда им было известно, что я прирожденный пехотинец и по-прежнему еще могу быть на марше. Если и не иду куда, так, значит, мне туда неохота идти. Я ведь человек бывалый, понимаю что к чему. Но зато в иных турчанских деревнях — может, как раз потому, что там знали, что я их земляк, не опасались, что повисну у них на шее,— принимали меня как нельзя лучше.

Блатничанки, к примеру, мастерицы собирать всякие травы — так уж повелось исстари, обычай этот идет якобы от каких-то монахов, после них за дело взялась одна графиня не то баронесса, а уж потом некая Тексторисова, оказавшаяся по воле случая тоже почтаркой; наверно, когда в сумке ее не было писем, она собирала туда травы — ее именем даже назван один чертополох, вроде он так и зовется — *Textoris*. Ну, не диво ли? Какой другой письмоносец заслужил бы такое? Бог мой, а может, это только обыкновенная сумка, даже не почтарская пелерина, не фуражка и тем паче не почтовая труба, только почтарские ноги, вряд ли велосипед, вряд ли звоночек, просто обыкновенная сумка, обыкновенные ноги почтаря-пехотинца. Обыкновенный чертополох из Дедошовой или Влкановой, обыкновенный *Textoris*. В Блатнице с травами творят чудеса, блатничане хаживали, говорят, в Россию травы и шафран продавать, иные даже до Сибири добирались, наверно, и другой товар носили туда контрабандой: упряжные сбруи, масла и всякую всячину. Живут здесь истые знахари, «олейкары»*, торговцы и разносчики масел, собиратели целебных трав. И сердечности им не занимать — женщины и рады были бы омыть мои ноги любыми травами, да вот только ноги мои, а главное одна нога, остались в Италии. А кроме трав, у этих женщин ничегошеньки не было. Правда, они накормили меня, и не раз, картошки и капусты я мог там до отвала наесться, да и

* До 1914 года многие «олейкары» ходили на промысел в Россию.

кислого молока там пей — не хочу, это ведь все турчанские блюда. В Турце, пожалуй, ничего другого и не едят. А если и едят, так только вечером, чтоб заснуть было легче. Утром, прежде чем мужики отправлялись лес рубить, ели потроховую похлебку, заправленную мукой или брынзой. И уж поверьте на слово, козь не доводилось вам есть потроха — это вещь неплоха! Особенно для того, кто мается животом. Барана или барашка каждый день там, ясное дело, не режут. Мужики любят чай, но чай не из трав, а настоящий...

Хм, кое-кто из мужиков охотно мне и рюмочку бы поднес, но я-то знаю, что положено, а что нет — было небось когда тому научиться. Ведь дорога у меня еще долгая.

Иду дальше, спать есть где. Или нет? Что ж, я привык и не спать. Но кто-то бежит за мной, видать, порадовать меня хочет, и силком сует мне в карман старые русские царские деньги. Я толкую ему, что они уже не в ходу, а он мне, сердечный, не верит...

Прихожу в Мошовце, останавливаюсь у церкви и сам не знаю почему, наверно, оттого лишь, что из церкви выходят люди, начинаю ораторствовать, и многие думают, что в родное село воротился Ян Коллар*. Или, может, мне просто хочется вместо молитвы кому-то что-то вдолбить в голову. Иные чуть ли не во весь голос дивятся: «Бедняга, почти как Ян Коллар, и говорить и проповедовать мастер, только вот Мина и муза в голове у него, у бедняги, совсем другие песни заводят». Обедом меня накормили в приходе. Я поблагодарил и пошел дальше.

Хожу уже долгие годы. Везде побывал, повсюду речи держал, повсюду пел, везде горлопанил. А широкополая шляпа передо мной на земле лишь для того, чтобы знали, кто я и что я: когда люди проходят мимо этой шляпы, я всегда успеваю им все выкрикнуть или пою, да так, что они обычно останавливаются и делаются потом чуть умнее,

* Коллар Ян (1793—1852) — поэт, ученый, деятель словацкого и чешского Возрождения. Родился в селе Мошовце. Мина — героиня поэмы Коллара «Дочь Славы».

может, и урок извлекают — я же всегда ору или пою правду.

А бросят мне пятак, разве в том моя вина? Я что, должен сказать доброму человеку, что ему не надо быть добрым или что я этого пятака не заслуживаю? Неужто я должен сорвать его добрый помысел, унижить или оскорбить его благородный поступок? Или сказать ему, что пятака мало, что он мне без надобности, что меня за пятак не купишь? Что сколько бы ни кидали пятаков мне и мне подобным, да и тем, что уже сгнули в войнах, люди все равно никогда пятаками не откупятся?

А иной раз примечу человека, вижу, как он пялится на меня, и угадываю, что он обо мне думает и как моими словами возмущается. И тогда все равно — захоти он мне дать хоть тысячу крон, хоть миллион,— все равно знаете, что я сделаю? Возьму шляпу да как шлепну ему все пятаки в рожу, залеплю ему промеж глаз даже этим его миллионом. Я не просто нищий, я солдат, а что мне довелось навсегда остаться солдатом — это не моя вина. Хм, бог весть, кого ждала та тетушка?

Хм, мне ведь это и она сказала. Даже еще маковник в карман сунула.

Я свободен, как птица. Только вот я совсем обезножел, а руки никогда не сменить мне на крылья. Но товарищей у меня вдосталь. С иными я только теперь подружился. Встречаю их на дорогах. Спрашиваю:

— Где служил?

— В тренчинском.

— Я в Вене. Тарнополь. Галиция, Румыния, Пьяве, Тальяменто*.

Обойди я всех своих товарищей, и голодать, пожалуй, не придется. А я сперва и не голодал. И вскорости

* Пьяве и Тальяменто — реки в Италии. На р. Пьяве произошло (15 июня 1918 г.) последнее сражение австро-венгерской армии с итальянской, в результате которого Австро-Венгрия понесла огромные потери. На р. Тальяменто до заключения перемирия (3 ноября 1918 г.) итальянцы взяли в плен около полумиллиона австро-венгерских солдат.

понял: чтобы быть всегда сытым, достаточно обойти всего лишь трех-четырех товарищей. Только как быть, ежели каждый из них живет в другом месте? Дорога от одного к другому была для меня изнурительной — хоть я и пехотинец, а приходилось время от времени и отдохнуть, а отдыхая, всякий раз хотя бы малость и перекусить. Но большинство товарищей, которых я навещал, смотрели на меня так, словно я должен был им что-то принести.

Пару раз заходил я в Модру, где епископ Зох еще до войны стал собирать среди имущих и неимущих евангеликов средства на сиротский приют. И его построили. Да разве прорву сирот вместишь в один приют?!

Я ведь тоже когда-то был сиротой. Да и было у меня много товарищей, после которых осталось немало сирот. А пан епископ Зох во время войны издавал и такую брошюрку: «Страж на Сионе». Журнальчик для сирот и фронтовиков. Ну и коли совсем прижмет — республика уже с самого начала не сводила концы с концами, вот и приходилось где какую фабричку или металлоплавильню закрыть, где лесопилку, стеклодувню остановить, стеклышко, стеклышко, картель тебя слопают, — меня-то это не очень касается, а там кто знает, — так, стало быть, коли совсем прижмет, и слишком урчит в животе, и негде ночью голову приклонить, — нахожу этот сиротский приют, стучусь в дверь, еще и костылями прищелкиваю, и докладываю:

— Фронтовик Дюрис! Служу уже только на Сионе. Живот подвело и спать негде. Я пришел навестить сирот, что остались после моих товарищей.

Приукрашиваю. Я все стараюсь приукрасить.

Но и в приют не положено мне часто ходить. Не стану же я отнимать у детишек сиротский хлебушек. А рассчитывать только на товарищей? Знаете ведь, как оно! Ты пришел? Милости просим! Что нового, приятель? Как живешь-поживаешь? Куда путь держишь? Когда уйдешь? Бывает, даже времени нет с товарищем поздороваться!

Едва войдете во двор, а уж из окна кухни или горницы доносится: «Этот нищерброд только тебя объедать должен, да?»

Нищерброд поворачивает оглобли, больше вы его, наверно, никогда не увидите...

Но есть у меня и хорошие дружки. Правда, не хочется их часто тревожить. Мне непрестанно кажется, что где-то трубит пехотная, почтовая или военная труба... Уж не пытается ли кто-то опять зазвякать стремянами, посмелей ударить сабелькой по голенищу сапог?

Или кто-то ищет Мартиненго?

В самом деле? И Мартиненго? А не поздно ли? Или, может, до времени?

Я прирожденный пехотинец и иной раз, нет, пожалуй, всегда, но всякий раз по-другому, поздно, но вместе с тем и до времени, явственно слышу, как где-то вдалеке тревожно верещит какая-то охрипшая пожарная или почтовая, а может, уже снова военная труба...

Мне показалось или на самом деле?

У меня имелась такая специальная военная карта, где обозначены были все фронтовые позиции конца войны. Я часто изучал эту карту, а когда бывал с товарищами, показывал им, где меня хлопнуло. Нередко даже искал собеседника, шел к нему лишь для того, чтобы показать эту карту. Купил я ее еще во время войны за тридцать пфеннигов, но и после хранил ее и повсюду таскал с собой.

Пехота — царица полей! Я умею шагать и опершись руками о костыли, и потому ладони мои тверже, чем у иного солдата пятки, а то и подпятники в сапогах. Не раз, разглядывая с товарищами эту карту, мы ревели ревмя, а потом обнимались от радости. Господи, как же мы это все пережили!.. Но и карту я предал. Взял и продал ее — голоден был, обменял на похлебку.

Край, где стоял наш двор — оттуда вышел мой отец, оттуда вышел когда-то и я, — был велик. Из нашего двора, хотя своего двора у нас, может, и не было, видна

была даже Адриатика. А мой отец через Гамбург узрел и Америку. Прямо с нашего двора можно было выйти в море, а если гнала тебя бедность или чья-то несправедливость до самой Америки или Канады, то из Америки можно было увидеть и Татры. И хотя человека из такой дальней дали рассмотреть трудно, но если хочешь — даже из Америки можно было заглянуть и в наш двор.

Только если родина скупа к тебе или чересчур несправедлива, для чего тогда море? Для чего дороги? Из скалы выпрыгнет тропинка, но куда? Куда ты торопишься? Зачем оглядываешься? Земля, как ни верти, круглая, и очень мало дорог, которые действительно где-то кончаются. Дорогу с дорогой все-таки можно соединить, связать, точно ленту, и идти, идти, захочется свернуть, ну и свернешь, захочется еще свернуть, еще свернешь, словно бы ветром отнесло ленту в другую сторону, и ты идешь, идешь... Повсюду есть люди.

Господи, если бы я мог еще раз выйти с нашего двора и у меня были б ноги, да хоть бы и не было, если б я вышел еще раз даже на костылях и мне дозволено было бы самому проторить дорогу, может, и новую какую дорогу, э-эх, зашагал бы я и, глядишь, сумел бы... сумел бы и лучшую протоптать дорогу, удачливей растянуть ленту. Не нужна была бы мне тогда и карта, зачем она мне? Хоть новая, хоть старая, зачем она? Если бы у меня даже костыли болели, пускай болят, пускай и карта болит, на своих двоих или на костылях ты должен, должен топтать по словацким дорогам, должен топтать, дружище! И если б ты даже сумел завить от боли, главное — человек, главное — ноги или хоть костыли, а уж потом дороги, уж потом, дружище, и карта.

А может, я строю из себя умного, как и подобные мне умники, лишь тогда, когда все уже позади. А что еще мне остается?

Многие из моих товарищей уехали в Америку, во Францию, в Канаду, черт знает куда. Было, правда, в Словакии несколько фабрик, но они внезапно исчезли, были все-

возможные гуты, но и их постигла та же участь. Дьявол знает почему! Уж явно не потому, что у нас перевелось дерево или словацкие стеклодувы разучились выдувать красивое стекло. Проявит заботу о таком стеклодувном заводишке какой-нибудь картель, и его как не было. И вот так исподволь все исчезает (демократия, все сожрем!), остаются в Словакии вдруг одни пастухи и овцы, дротари и их подручные да еще плотогоны — сдохни или живи впроголодь!

Вот и живу впроголодь. И не я один. Но разве всех перечислишь? Я ведь и сам стыжусь за себя! Порой не решаюсь даже на собственное имя отозваться!

Хотя мой отец и не был стеклодувом, я и в Словакии видел чудесные кувшинчики, рюмочки, скляночки — ведь пока были стеклодувни, были и скляночки. Некоторые рюмки так и назывались у нас — «скляночки». Но были и всякие графинчики, штофчики, разное расписное и, ей-богу, даже цветное стекло. Сколько кувшинчиков, стаканчиков-скляночек, графинчиков и всевозможных пузатых или просто надутых скляниц, прозрачных и цветных, господи, сколько же распрекрасного стекла было в Словакии!

Но картель есть картель — хотя фабричек, стеклодувен и лесопилок все убывает или они совсем исчезают, — слово «картель» вдруг становится известным и в Словакии.

И какой-нибудь училищка не только в сиротском доме, но и в любой деревеньке учит детей петь:

Я нищий, убогий,
друг — месяц двурогий,
лежанка — под елкой,
амбар мой — кошелка.

Растреклятое дело! Я бы охотно выбрал учителя, но иной учитель, хоть и пускает в ход тросточку, порой и скажет мягко и даже усердному ученику: «Мальчик, и ты пойдешь по миру!»

А я все хожу и хожу. Если б не надо было мне есть, не своди у меня с голодухи желудок, не знай я и не замечай,

как другие голодают, мне давно бы опостылела любая еда. Сам себя ненавижу, иногда стороной обхожу деревню или местечко, бреду-брожу и даже не знаю, куда идти просить нищенское вспоможение. Впрочем, и не хочу его. Я ведь не нищий. Но все равно обогреваюсь на маленьких железнодорожных станциях или где в другом месте, холодно, идет снег, негде душу согреть, часто и вправду не знаешь, остался ли друг по-прежнему другом. А поутру, случается, и без нищенского билета съедаю чужую похлебку.

Ежели бастуют где, я тоже иду бастовать. Ежели всех разгоняют, я остаюсь, я умею всегда и везде оставаться. Убивают кого-то, а я все живу и живу. Иногда и сам себе в укор ставлю, что никто не жахнет меня как следует по спине. Не раз я совал жандарму или полицейскому костыль в руки:

— Стукни меня, боров!

А они сцапают меня, а потом и отпустят.

И часто, даже по ночам, в совсем чужих деревнях или местечках кричу:

— Свиньи! Свиньи паршивые! Вы что, не можете прикончить меня?!

Мне знакома едва ли не каждая церковка. Евангелических мне уже не хватает. У каждой я стоял. У каждой пробовал молиться, но на одной молитве далеко не уедешь. И пусть многие, верно, думают, что евангелики не дадут в обиду своих единоверцев, будь ты трижды евангелик и стой хоть у евангелической церкви, раз ты обыкновенный пехотинец, ей-богу, и у евангелической церкви, даже у всех евангелических церквей, на молитве далеко не уедешь.

И вдруг я — в католическом Мариатале. Даже понятия не имею, как я попал туда: то ли по ошибке, то ли нарочно, а может, просто из любопытства к кому-то пристроился, и вот уже шагаю в конце процессии, словно решил удлинить, помочь богомольцам растянуть шествие с факелами и с зажженными свечками.

Вдруг кто-то толкает меня, не иначе, ей-ей, как концом палки или даже скорей костылем:

— Хе-хе-хе! Коко, это ты? Ведь ты ж евангелик! Где у тебя свечка? Подними хотя бы костыль!

— Балда! Это я-то евангелик? Когда я перся с винтовкой в Рим, ты мне этого не говорил!

Улыбаюсь и, пожалуй, чуть повыше подымаю костыль: аве, аве, я этому уже научился, я ведь это тоже освоил! Рим или Аугсбург*, где-то далеко Виттенберг**, далеко Сервет***, которого Кальвин сжег на медленном огне, далеко Якуб Гуттер и все гуттериты, «габаны»****, как все это далеко, аве, аве, аве, далеко Верден, Пьяве, далеко Галиция, бои в Карпатах, далеко Альпы и вспененные, журчащие, неистовые потоки альпийских студеных быстрин, богородице дево, радуйся, богородице дево, радуйся, Дюрис или Мартиненго, я всему уже научился.

Кто знает, жив ли еще пан Барток? А если жив, узнал ли бы он меня теперь? Не устыдился бы меня? Нет, и теперь ему не было бы стыдно за меня.

Hej, bíró, bíró, bíró, falum beli bíró,
Vájja ki a két szemed a holló!
Beirtad a nevem katonának,
Hej, pedig odahaza szeretnek a lányok*****.

Жив ли еще пан Барток? Смог бы он и теперь меня вспомнить?

* В Аугсбурге в 1555 г. лютеранство было признано официальным вероисповеданием наряду с католицизмом.

** В XVI в. один из главных центров Реформации. В 1517 г. здесь выступал со своими тезисами М. Лютер.

*** Сервет Мигель (1509—1553) — испанский мыслитель, врач.

**** Первые европейские социалисты-утописты, члены радикальной религиозной секты анабаптистов, в Западную Словакию пришли около 1545 г. Были искусными мастерами ремесел, еще не развитых в Словакии. В Словакии и Моравии их называли также «гуттериты», по имени их проповедника и объединителя Якуба Гуттера.

***** Венгерская народная песня, записанная Белой Бартоком:

Эх, судья, судья, ты сельский наш судья,
Чтобы ворон тебе выклевал глаза!
Записать меня в солдаты приказал,
Мало с девками мне выпало житья.

Нет, я не ошибся! Вряд ли я мог бы ошибиться в пане Бартоке. В пане Бартоке я-таки никогда не ошибался.

«Allegro barbagio»*. Я думаю о сабельках. Кое-где уже снова все пронзительней начинают брэнчать сабельками. Мне и труба слышится. «Крупп» или «Крусспе»? «Отто Брукнер, Краслице», «Лидл Брно»** или просто обыкновенный Крупп, а с ним еще и другие господа, может, даже и капитан из Кёпеника***. Неужто опять?! М-да, опять, пожалуй, это действительно так!

Заходит солнце, и над горами море латуни...

Газет я умышленно не читаю. Но все равно от этого никуда не уйдешь!

Сперва аншлюс, затем Судеты и Польша, Шлезвиг-Гольштейн, нападение на польскую почту****, зачем все снова и снова повторять?

Полетел в Германию старый Чемберлен*****
и детей словацких продал немчуре...

Однако все должно обрести форму! Мобилизация*****, война! И впереди тоже странствия, только лучше организованные и под особым наблюдением.

* Название произведения Б. Бартока.

** «Отто Брукнер» — фирма музыкальных инструментов в Краслицах, так же, как и фирмы «Лидл Брно», «Крупп» и «Крусспе». Вместе с тем здесь и игра слов, связанная с именем «пушечного короля» Круппа, сыгравшего особую роль в развязывании второй мировой войны.

*** «Капитан из Кёпеника» — символ слепого подчинения власти. Сапожник Вильгельм Фойгт (1849—1922), облачившись в купленную военную форму капитана, вместе с несколькими солдатами захватил в 1906 г. здание ратуши в Кёпенике (пригород Берлина).

**** Имеются в виду события 1938—1940 гг.: насильственное присоединение Австрии к фашистской Германии (март 1938 г.), отторжение Судетской области от Чехословакии (сентябрь 1938 г.), нападение на Польшу и оккупация ее (сентябрь 1939 г.), оккупация Дании (апрель 1940 г.), куда входила северная часть Шлезвига.

***** Чемберлен подписал Мюнхенское соглашение в 1938 г.

***** 23 сентября 1938 г. чехословацкое буржуазное правительство объявило всеобщую мобилизацию в целях защиты против возможной агрессии фашистской Германии. Однако в результате Мюнхенского соглашения Чехословакия капитулировала.

И армия отправляется в странствие!*

А я иногда в Мариатале, иногда в Шаштине стою в шеренге нищих и убогих вдоль дороги, по которой идут богомольцы, или шагаю следом за ними — все больше под вечер, когда уже смеркнется и венгерская или словацкая процессия движется по вечерней Братиславе.

Хотя под Братиславой шествие слегка тает, к нему пристраивается несколько цыган, взрослых и детей, бывает, какой-нибудь вор и две-три проститутки. Чудесный вечер, хотя и без всякого прибытка, просто чудесный вечер, а посреди него и богомольная минута — видно, попросту красть нечего, — вор и тот неожиданно держит свечку и поет с Козелкой, Круйбель бранится с Гейгешем**, а Ракус с Гораком*** заглядывают к ним в песенник.

И цыгане перебраниваются:

— Не цыгань, заткнись, давай лучше кричи аве!

А возле меня с обеих сторон блондинки и темноволосые, их становится все больше. И я с ними аве, аве, аве, сколько повсюду этой голытьбы, богородице дево, радуйся, богородице дево, радуйся...

Я нарочно все убыстряю, словно не хочу про все знать. Но кто-то обо всем уже позаботился.

Голодные походы. Мюнхен. Народные шествия. Самостоятельность****. Не прячет ли кто еврея? Сперва обещается выезд в Палестину, а еще позднее — работа на каком-нибудь словацком сахарозаводе или работа для рейха —

* Имеется в виду вывод из Закарпатья чехословацких войск и оккупация этой территории хортистской Венгрией (16 марта 1939 г.), а также участие клеро-фашистского «независимого Словацкого государства» во второй мировой войне на стороне фашистских держав.

** Имена бродяг и нищих — героев ранних произведений В. Шиклулы.

*** Современные словацкие писатели: Карол Горак (1943) и С. Ракус (1940), развивающие в своем творчестве жанр баллады.

**** 14 марта 1939 г. сепаратисты-«людаки», поощряемые Гитлером, провозгласили создание «независимого Словацкого государства». В тот же день гитлеровские войска пересекли границу и оккупировали Чехию и Моравию, превратив их в немецкую колонию — так называемый «Протекторат Чехия и Моравия».

тут уж извольте заплатить за каждого столько-то кронок на обучение...

Для фронта только две дивизии: ударная и прикрывающая*. Ну и, конечно, сразу же снимают фильм «От Татр до Азовского моря». Парень, а не напутал ли ты чего с морями? Тебе что нужно у моря? А где Кавказ, знаешь? Чего ты там не видал? Может, решил там найти или про-давать лечебные травы? Или хочется посмотреть, как у подножья кавказских гор алеют гранаты?

На кой ляд тебе это море? То или иное? Чего ты там позабыл? Хоть и верещит труба, ты-то куда спешишь со своей одной дивизией? Решил покрасоваться? И ты захотел доказать, что ловок втащить пушку на самую макушку Эльбруса?..

Сколько погибнет их из ударной или этой прикрывающей дивизии? Сколько перебежит? Сколько не воротится? А скольких из других стран — малых и больших — постигнет та же участь?

Меня как бы уже ничего не касается. Хорошо еще, что и во время войны, пусть я и евангелик, а может, и не евангелик, могу ходить на богомолье. Иной раз мне даже весело. Хоть я и с севера, а люблю — особенно когда паломничество — бывать на юге, на Дольняках; среди нищих у меня полно друзей, да и те, что поначалу кое-что не могли мне простить, называют меня уже Коко и, пожалуй, даже рады, что я их чуточку объединяю. Никто не злобится на меня, когда кричу им: «Ребята, равняйся! Покажите и сейчас, какой полагается быть шеренге!» У некоторых даже меньше ног, чем у меня, они сидят в деревянных ящичках и вместо костылей пускают в ход буковые чурбачки, те самые, какими спасается нынче рейх, да и Словакия, потребляя древесину вместо нефти и бензина.

* Одна из словацких дивизий, преступно направленных клеро-фашистским правительством на советско-германский фронт, в 1942 г. принимала участие в военных действиях на Кавказе. Многие из солдат перешли на сторону Красной Армии и впоследствии составили ядро Чехословацкого корпуса.

Ребята, держать равнение! Не нарушать факельцуг! Не расстраивать аве! Когда поет голодное горло, разберешь ли тут, поет ли Кальвин или Сервет, Цвингли или Гуттер, папа римский или Бенъямино Джильи*, который, если захочет, запросто плюнет на Словакию; а ты покажи, как умеешь держать лопату или — хоть идет и стадо гусей — как держишь равнение...

Всегда, когда кончается лето и близится осень, я бываю на Дольняках. Мне часто приходит на память, как однажды, совсем еще мальчишкой, я отправился из родного Турца на юг. Явился в Прешпорок и враз захотел показать, что огонь мне нипочем. Скорей всего, просто мечтал подзаработать, но и, конечно, повывставляться был не прочь. Я сразу влетел в огонь и прибился к пожарным совсем не потому, что пожалел беднягу Штефанко или ждал благодарности от фирмы Бёкинга — ничего подобного! — я влетел, чтоб показать, что не боюсь огня, что не только загореться, но и гасить не боюсь. Что никакой огонь мне не страшен — я знаю, что он такое, откуда берется и как тушить его. И это не болтовня. Еще тогда я решил, что, будь я знаком с паном Мартиненго или с каким-нибудь важным лицом с фирмы Бёкинга, я бы им посоветовал, как хранить бочки с горючим. Для бочек, пожалуй, и склады не нужны. Если речь и впрямь идет о чем-то горючем, зачем помещать это в склады? Я смекнул, что бочки надо укладывать совсем по-другому, — тогда и бедному Штефанко, у которого, верно, дети остались, не пришлось бы вешаться.

Бочки с горючим, по-моему, должны быть на открытом пространстве, причем могут быть друг на дружке, и даже в большом количестве, но с краю надобен колышек: вспыхни пожар или взорвись какая-нибудь бочка, даже лизни их все до единой огонь — стоит вытащить колышек, и они спасены. Раскатятся так далеко, что пан Бёкинг только глаза вытаращит. А капитан Мартиненго вместе с беднягой Штефанко и

* Джильи Бенъямино (1890—1957) — итальянский певец, пользовавшийся особой популярностью в Словакии во время второй мировой войны.

на том свете обхохочутся, любуясь веселым огоньком, а главное тем, как я сумел быстро и весело раскатить бочки в разные стороны. Я и никакой награды за это не требовал бы, разве что сказал бы: «Пан Бёкинг, я вас потому упредил, что понял, как лучше огонь разводить, да и чтоб вы на лак не скупились и воровали поменьше, хотя на горючем, на лаках вы свой капитал и наживаете».

Но в совете моем никто не нуждался. Да и я тогда не был семи пядей во лбу, просто умел умно ухмыляться — сглотну какую мушку, и кажется мне, что, будь я в Турце, я смог бы людям объяснить, какая разница между винной мушкой и капустной, турчанской. Полюбил я равнинные Дольняки, но только потому, что любил Турец. Хоть и смеялся я, да про себя все всегда сравнивал и знал: то, чего недостает в каком-нибудь одном крае, можно взять и перенести из другого. Может, стоит хотя бы попробовать? Разве нельзя какую-нибудь травку из Турца обменять на другую, разве нельзя было бы туда или сюда пересадить какой-нибудь устойчивый, выносливый черенок?.. Я никогда не винил тот или иной край, что ему чего-то недостает, я даже никогда никому не завидовал, мне, может, просто хотелось всем добра пожелать — я люблю смеяться, и оттого мне часто казалось, что у нас повсюду должно быть больше скромного смеха, ведь у нас живут скромные люди...

Ну что с того, если я когда и погорланю на Дольняках? А вы что бы хотели? Должно быть, сердитесь, что северянин пришел на Дольняки или что евангелик забрел в католический Мариатал либо отправился в Шаштин спросить про богомольную Ангелику Бакичову*?

Осень на Дольняках мне нравится еще потому, что там виноградная страда, мне даже кажется, что ради этого, по крайней мере в Словакии, бывают там и паломничества. Отлучишься ненадолго из Мариатала — и ты сразу в Ламаче или в Вайнорах, а пойдешь другим путем, лесом, наткнешь-

* С именем Ангелики Бакичовой связана легенда об основании костела девы Марии в Шаштине, ставшего местом паломничества католиков.

ся на Полгору, напьешься воды и в два счета ты в Юре. Звон Юрского колокола порадует и солдата. Вызванивает он старую побасенку: «Свинья меня вырыла, а пани нашла!» В ближнем, вечно мгlistом, низинном Шуре, над которым и в жаркое лето колышется или волнится марево, в дупле размокшего от воды двухтысячелетнего дерева нашли латы и кости неизвестного солдата. Должно быть, он там затаился на время. Человек, особенно молодой и неопытный, глядит на все глазами своего поколения, пожалуй, он способен вобрать в себя опыт нескольких поколений, но когда речь идет о солдате — столетие обычно не играет роли; дурак предпочитает притопывать на одном месте, и главным, самым главным ему кажется лишь то место, где он стоит или где он должен топтать, но настоящий солдат знает о каждом умном и неумном, известном и неизвестном солдате.

Римлянин выстроит мост, а потом уж и дурак осмыслит, куда вела или как должна была выглядеть римская дорога. Но как плачут копы, как верещит корнет, как щит сшибается со щитом, не знают подчас даже знаменосцы, корнет не знает о корнете, копыто ничего не ведает о копыте. И еще меньше известно о том, как ломаются и как звенят многожды поверженные, но все еще, пожалуй, возвышенные, хотя и рушащиеся троны и скипетры, как визжат дудки, а у труб остервенело трещат разъяренные, рычащие горла, как страшно всхрапывают кони, как свистят и скрипят рассеченные, разорванные, раскроенные, разметанные цепи; сабля, рассекая яблоньку, прищепливает привой, вспарывая живот, находит в нем яблоко или муст, *allegro barbaго*, ребра хрустят, глотки хрипят, как скрипучие, поломанные, осипшие свирели, трясущиеся, но разъяренные зады гонят впереди себя наточенные, посеребренные, начищенные до блеска ножи, штыки, жала и иглы, брюхо о брюхо, штык на штык, жало и копыто в глаз, уже и дерево звенит, уже и сталь смягчает, с гудом рвутся бурчащие кишки, исторгая вдруг глубокие печальные тоны — контра, которым недостает низов, им не на что опереться, не с чем связаться, поют вены, опрыскивают кровью дерева и траву, на лугах ломко мычат

издыхающие, извечно глупые буйволы и стада, «румянится травушка, зелена трава для коровушки красна»*, из глаза римского коня, который у села Лаугарицио** без устали роет землю копытом, будто ищет оброненный кем-то дукат на лугах,—«кто дукат мне разменяет, где-то милка пропадает»,— из глаза римского коня стекает гной, а другим копытом и оскаленной ржаньем мордой он как бы наперед указывает, где поставить для Матуша Чака*** Тренчинский замок или крепость Стречно,—«загляну в корчму я, спрошу про Цинку Панну****, там цыгане игра-а-ают, дукат мне разменяют, дукат разменя-я-яют, денег не считают»,— может, еще хотя бы раз повстречаю пана Бартока,—«дукат брошу на цимбалы, играют цыгане, ца-ра-ра, ца-ра-ра, мы копали и пахали до росистого утра»...

Все равно, затаишься ли ты или даже во время войны, глядь, слетаешь «бурчака» хлебнуть... Тоской или песенкой молодость помянешь. «Свинья меня вырыла, а пани нашла!» Колоколу нужна побасенка. Но солдат должен уметь обоиться и без колокола, и без побасенки. «Свинья меня вырыла, а пани нашла!» Черный виноград надо оставить на лозе чуть подольше, а потом дать ему выбродить в бочках, чтоб красное вино успело набраться терпковатого вкуса и сочного цвета для и ради солдатика. Затаишься ли ты или нет, одно ясно: солдат вечен... И не потому, что он может стать генералом или всего лишь сотником*****. Солдат вечен и спо-

* Здесь и далее текст рассказчика переплетается со словами народных словацких песен.

** В 179 г. на юге Западной Словакии произошла одна из самых кровавых битв маркоманской войны в годы правления императора Марка Аврелия. В том же году римские легионы проникли в глубь варварских племен квадов и маркоманов к нынешнему Тренчину и zaloжили лагерь Лаугарицио; по приказу командира гарнизона Марка Валерия Максимиана на тренчинской замковой скале была вытесана благодарственная надпись в честь победы римлян над варварами.

*** Матуш Чак Тренчинский (ок. 1260—1321) — феодал, олигарх, «пан Вага и Татр», владелец Тренчинского и других замков в Южной Словакии.

**** Цинка Панна (1711—1772) — скрипачка известного в свое время цыганского оркестра, с большим успехом выступавшего в Венгрии. С ее именем связаны многие венгерские народные песни.

***** Чин в армии «независимого Словацкого государства».

собен другим обеспечить вечность потому, даже только потому, что умеет затаиться — один раз в дупле, другой раз как крыса, а третий — как тот горемыка, что нес из дальней дали черенок или дротик, а то и персиковую косточку, забытую в кармане. Но иногда и потому, что он не только солдат — в нем живет еще и резчик, у которого нет времени для себя, но прославить другого, пожалуй, его всегда принудят. Если римлянин высек что-то на камне, эту надпись ни ветер не сотрет, ни дождь не смоет, и если люди и многие-многие годы спустя знают, где Лаугарицио и кто был Марк, то заслуга в том не только командира, но и резчика. А что римлянин вырубил, высек на камне, ни ветер никогда не сотрет, ни дождь не смоет...

Еще не кончается лето, и тем более еще не конец виноградной страды, но, мне кажется, настала пора отправляться в горы. Плетусь вверх Поважьем...

Ночь. Но и она мне не помеха. Иду. Иду домой. Кто-то окрикивает меня:

— Стой! Halte-là!*

Останавливаюсь:

— Ты мне кричишь? Чего тебе от меня нужно?

— Halte-là!

Внезапно рядом возникают двое парней. Может, просто какие-то проходимцы. Личности мне неизвестные, я даже не могу как следует разглядеть их, в толк не возьму, чего им и надобно. Они ощупывают меня, ощупывают и мои костыли, но я не понимаю их.

Один из них похлопывает меня по плечу и делает знак рукой, что я могу идти дальше.

— Salut!**

Ну-ну, я не люблю шуток.

— Capisco italiano?***

* Стой! (франц.)

** Привет! (франц.)

*** Понимаешь по-итальянски? (искаж. итал.)

- Non. Je suis Français. Où vas-tu? Que fais-itu ici?*
- Non italiano?*** Браток, я дома, меня не напугаешь!
- Je suis Français,— снова похлопывает он меня по плечу.— Allemand***, немец, немец ждать.
- Non italiano?
- Non. Nous sommes Français. Slovaquie, Slovaquie, ici, ici, camarade, немец il faut**** ждать.
- Не понимаю тебя. Как тебя зовут?
- Pourquoi? Je suis Français*****.
- Как тебя зовут?
- Pourquoi?
- Хотя ты и француз, а меня зовут Дюрис. А тебя как?
- Pierre Unik*****.
- Пьер Юник. Запомню это имя.
- Хе-хе-хе, не запомнишь. Tu peux pas retenir ça. L'Allemand va derrière toi! Dépêche-toi! Moi, Français, moi Pierre Unik, ici, ici, l'Allemand arrêter*****, немец задержать!
- Salut! Salut!

Дальше уже нет ходу. Меня опережают. Но ничего со мной не случится. Чуть выше Трэнчина останавливаюсь. Здесь у меня повсюду свои...

Пожалуй, в Рачишдорфе или в Модре мне было бы и лучше, однако попробую обосноваться и здесь. Время от времени через деревню проносятся немецкие машины, потом немцы размещаются в ней.

В деревне разместилась немецкая воинская часть. Небольшая, но все равно произвела на деревенских впечатле-

* Нет. Я француз. Куда идешь? Что тут делаешь? (*франц.*)

** Не итальянец? (*итал.*)

*** Немец (*франц.*).

**** Нет. Мы французы. Словакия, Словакия, сюда, сюда, товарищ... нужно... (*франц.*)

***** В чем дело? Я француз (*франц.*).

***** Юник Пьер (1909—1945) — французский поэт, журналист, коммунист. После фашистского плена и концлагеря был партизаном в Карпатах. Участвовал в Словацком национальном восстании 1944 г.

***** Не сможешь запомнить. Немец догоняет тебя. Торопись! Я француз, Пьер Юник, здесь, здесь, остановить немца (*франц.*).

ние. Сперва они боязливо таращились на солдат, потом свыклись с ними — что будешь делать! Какие солдаты обосновались в школе, какие расселились по домам. На двух грузовиках привезли походные кровати и велосипеды. Когда их сгружали, вокруг собралась куча детей, да и взрослые, останавливаясь, диву давались:

— Куда столько велосипедов? Небось немцы не пожаловали сюда, чтоб кататься на них?

Иные ребяташки, что посмелей, сразу же давай приставать. Выискивали среди солдат таких, с которыми, казалось, можно было столковаться, бегали за ними, старались подластиться, спрашивали, не надо ли помочь чем — может, велосипед подкатить или принести-отнести чего.

Время от времени какой-нибудь солдат улыбался, а поскольку не понимал детворы, соглашался или просто бормотал под нос:

— Gut*.

Дети спрашивали:

— А потом, когда вы уже куда-нибудь съездите, дадите нам покататься?

Ответ был тот же, что и раньше:

— Gut.

И дети довольны. Некоторые потирали руки, так как слово это, должно быть, знали и принимали его как обещание.

А вечером в корчме, где сидело всего несколько посетителей, речь только и шла о велосипедах.

— Это, должно быть, какие калеки,— заметил один.— На кой ляд им столько велосипедов? Видать, были на фронте и теперь, у кого непорядок с ногами, приехали сюда на излечение.

— На велосипедах?— тут же нашлось кому возразить.— На велосипеде вытягивать надо, педали крутить. Иной раз и на всю катушку. Поди, машин у них не хватает, вот и на велосипедах катят.

— Пускай тянут, да хоть вытянутся! А там есть и хоро-

* Хорошо (нем.).

шие велосипедики. Два-три совсем как новые.

— Как новые. Отличные велосипеды, ничего не скажешь. Пожалуй, все новые.

— Рухлядь они бы навряд с собой таскали. Черт подери, велосипедики что надо! Вот бы хоть один стибрить.

— Он бы и прикончил тебя.

— Кто?

— Да велосипед этот. Как пить дать, прикончил бы.

— Чего ему меня приканчивать? Я ведь его ни у кого еще не украл. Но велосипед, чего лучше! Будь он у меня, я бы враз — фьють! Ищи меня потом свищи!

Каждое утро, да и под вечер, у солдат бывало построение. Поначалу на школьном дворе, а позже, поскольку в деревне было много деревьев, орехов, лип, и это им, видать, пришлось по душе, выстраивались они и под орехами — шагах в двухстах от корчмы. Почти всегда вокруг них толклись дети, но совсем вплотную не подходили, как бы чуя, что командиру это не улыбается. Время от времени находился смельчак, который отваживался высунуть нос подальше других, но командир имел обыкновение часто оглядываться, гражданские, что ли, не пользовались у него доверием, может, и детей побаивался, или просто терпеть не мог любопытных глаз — стоило ему оглянуться, как смельчак враз давал задний ход.

Да и родители детей приструнивали. Если какой отец видел, что сын его мотается возле солдат, он тотчас окликал его, или — у отцов ведь могут быть всякие привычные или какие условные знаки для своих отпрысков — достаточно ему было свистнуть на пальцах или махнуть рукой, а уж потом в сторонке и попенять парнишке:

— Ты чего тут околачиваешься? Я ж велел тебе, как только солдаты пришли сюда, держаться от них подальше!

— А я что? Я просто так, — защищался малец. — Как и все. В школе с солдатами познакомился. Хотел Карола видеть. Хотел при построении на него поглядеть.

— Заткнись! Не болтай! Какого еще Карола?

— Одного зовут Карл, а мы его Карол называем. В школе с ним познакомились. Я как-то раз помогал ему щепок на-
колоть.

— Каких щепок? Чего тебе колоть? Дома-то всегда
я коли, всегда мне приходится. Если еще раз увижу тебя
возле немцев, гляди, полетит в тебя мой башмак...

Трамта-ра! Я, право слово, солдат не боялся. Сам небось
тоже солдат. Что с того, что в чужой деревне? Чужой она
может мне казаться лишь потому, что я в ней не родился.
А вообще-то она мне не чужая. Люди ведь тут говорят, как
мать меня в Турце говорить учила. Пусть я мать и не очень-
то помню, но и сейчас могу повторить каждое ее слово, ко-
торое она мне сказывала. А чему от нее не научился, научил-
ся в других местах. То ли в Бодовицах или в Блатнице, в
Мошовцах, Иванчиной или в Михале. Знаю я и Врицко, и
Штубнянске Теплице, Будиш, а если угодно, то и Немецке
Правно. Был я и в других местах. Я же пехотинец, ну а пе-
хота, пехота...

... погоны пропитаны собственной кровью,
кричим мы, кричим, и в атаку смелей,
ура-а, мы пехота, царица полей...

Фу-у! Дальше уже идет почти как гимн. Дескать, «за славу
прадедов, за отцову речь несем врагу мы огонь и меч, огонь
и меч...». Конечно, это совсем новая песенка! Когда-то я рас-
певал другие. Но и те были такие же напыщенные, может,
еще и понапыщенней. Однако, куда бы я ни заявился, всегда
знал, где и что могу себе позволить.

А как-то раз, знаете, у этих парней опять же построение
было не в школе, а кажется, под орехами. Я неподалеку то-
паю на своих костылях, а они — такие построения мне как-
никак известны — словно бы чем делятся меж собой: Ein,
zwei, drei* и так далее. Дело привычное!

Fünf Männer, Freiwillige!** И враз их пятеро! А угодно, так

* Один, два, три (нем.).

** Пять человек, добровольцев! (нем.)

будет и десять, и двадцать добровольцев. Когда я подошел, они, похоже, уже поделились — командир собрался отдать новую команду. Сперва солдаты вытянулись во фрунт, потом он скомандовал «направо», и вот тут-то я и приблизился. А благо я солдат — я мог бы даже сказать всем, и тем, что служат долгие годы, что я в одних увольнительных был, верно, дольше, чем они в солдатах, — мне захотелось показать, конечно, только шутки ради, что и сейчас я умею довольно ловко щелкать каблуками, это же в крови у меня, если нужно, хотя сапоги я давно оставил в Италии, а все-таки звякнут на них гвоздики или подковки.

И вот я действительно повертываюсь, пусть и в шутку, но в самое время. Делаю поворот, какой требуется, и пусть на костылях, но чеканю шаг так твердо, будто во мне, а главное, в моих костылях вся кровь взыграла...

Я попросту выкинул штуку! Однако, пройдя немного, оглянулся, чтобы узнать, обратил ли кто на меня внимание. Но солдаты, еще раньше повернутые командиром в другую сторону, зашагали в обратном направлении — прямо к школе.

Мой взгляд встретился со взглядом командира.

Я тут же почувствовал, что шутку мою он заметил, хотя шуткой вовсе ее не считает.

Я улыбнулся ему.

Он, пожалуй, был моего возраста. Позже я узнал, что он австриец. Наверняка служил, должен был служить и в первую войну. Несомненно он заметил и мои ордена. Некоторые, разумеется, он знал и понимал, что получил я их не за здорово живешь. Оглядел меня хоть и бегло, но на деле внимательно, похоже, еще и удивился и засомневался, действительно ли ордена принадлежат мне. Один или даже два были такого качества, что носить их в первую войну никто не устыдился бы, даже самый гордый австрийский офицер.

Однако у командира не было времени особенно удивляться. Улыбнувшись, я гордо поднял руку, выставив два пальца, — когда-то на фронте мы иначе и не приветствовали друг друга. Именно так я приветствовал, особенно перед атакой, старших и даже высших по званию офицеров. Больше я не

оглядывался. Не оглянулся бы, даже окрикни он меня.

Невольно я снова улыбнулся. Словно во мне опять проснулось пусть не бывшее честолюбие, а что-то вроде гордости. Я был уверен, что этот человек — он наверняка был мой ровесник, если не на год, на два старше меня, — не смог бы наполучать столько орденов, сколько я. Это словно написано было на нем. И когда я гордо нес себя на костылях, я всем нутром чуял, что два из них, ну а не два, так один определенно вызывает у этого человека острую зависть...

А когда заходило солнце, верней, когда уже совсем вечерело и люди, подчиняясь приказу, не смели высовывать носа из хат с затемненными окнами, группа солдат выезжала на велосипедах со школьного двора, тихо прошмыгивала по деревне и укатывала невесть куда.

Возвращались они обратно так же тихо, пожалуй, еще тише, поздно ночью, а то и под утро. Сколько вечером было велосипедистов, столько человек отсутствовало на утреннем построении. Должно быть, тем, что уезжали куда-то ночью, командир разрешал отсыпаться днем.

А те, что маршировали в утренние или предобеденные часы по деревне, распевали бодрую походную песенку, и пели ее так громко и с таким вдохновением, словно бы хотели восполнить и те двадцать — тридцать глоток, которым был дозволен отдых после бессонной ночи...

Повторялось это дня два-три кряду, а потом с неделю, а то и больше ничего не происходило. Словно немцев в деревне вовсе не было. Не слышать было даже пения, построений и то, казалось, у них нет, а если время от времени и случалось какое, продолжалось оно недолго — в деревне стояла тишина.

Шумно было только в школе — учителю с самого начала пришлось освободить для немцев один класс. Обретался там командир и его заместитель, или же адъютант, и, кажется, их денщик, не то два денщика. Днем там была канцелярия, забегали туда и другие солдаты, но командир, а с ним еще двое-трое оставались там и на ночь. По временам оттуда до-

носились губная гармошка, нередко и кларнет. Играли они вместе, иной раз даже ночью, но ночью чаще был слышен только кларнет, подчас одни упражнения, словно кларнетист боялся утратить или, напротив, хотел обрести еще большую беглость, но случалось это, правда, изредка, куда чаще доносились оттуда протяжные звуки, обычно тихие и трепетные, словно кто-то, возможно, и сам командир — правда, могло казаться, что это только кларнет,— тосковал по ночам.

Нередко в противоположном конце деревни скулил или брехал пес, и можно было подумать, что он пытается стать двойником кларнета или кларнетиста, играть или петь с ним дуэтом. Но вслушайся кто-нибудь повнимательней в это двуголосье, он, наверно, различил бы, что пес скулит жалостней и сиротливей и что морду поднимает к луне только затем, чтобы воззвать к ней: вороти, господи, мне волков, вороти мне моих предков, вороти меня к волчьей своре, вороти мне их, а-у-у-у-у, или меня к ним вороти...

А встречался ли утром или днем сосед с соседом, встречались ли на улице или в корчме двое-трое крестьян, да хоть бы и один в корчму заходил, то затевал или они затевали с корчмарем примерно такой разговор:

— А эта псина ночью опять выла! Чей это пес? Кому ж охота терпеть во дворе такого паршивого, полоумного пса?

— Он и тебе спать не дает? Думал я, только мне и моей жене.

— Господи помилуй, да разве уснешь? Наверняка полнолуние было. Ну и завывал этот пес!

— Было полнолуние, точно. Я даже нарочно слез с кровати и отлепил на окне бумагу — поглядел на луну. Бог мой, ну чисто лепешка! Самое малое пять псов нынче в деревне завывало. Будь у меня ружье или будь я немчурой, ей-ей, хоть одного бы да прихлопнул.

— Ой, парень, помалкивай лучше! Не пожалеть бы тебе!

— А чего? Только у них, что ли, собаки? А этот кларнетист, право слово, опять ночью заливался. Бедняга, видать, и его луна разжалобила. Сперва все такие низкие, почти ба-

совые, скажем, даже угрюмые звуки, а потом, точно знал, что я не усну ночью, взялся их вдруг подымать, наверняка кларнет к луне обратил, ей-богу, к самой луне. Потому как ни с того ни с сего у меня вот тут, господи боже, у самого сердца стало колоть, собаки выли, а я, нелегкая его возьми, все вставал да вставал с постели. А задышался ночью — жуть как! Глаз не сомкнул...

А днем эти ребята хорошо и слаженно маршировали по улице! Бравая песенка неслась прямо в окна, из окон в горницы, а может, только в каморки или каморочки, смотря по тому, у кого какая горница, каморка или каморочка. Но звучало это красиво и слышно было даже там, где окна были закрыты, ей-ей, это пение было слышно даже в таких конурках, кухоньках или каморках, где было лишь одно-единое крохотное оконце, которое и ладонью-то прикрыть можно, его и на ночь незачем было затемнять голубой или лиловой непросвечивающей бумагой, достаточно было крохотного оконца, оно могло быть даже закрыто, но вдруг начинало звучать, звучать как тамбурин или маленький барабан, в самом деле, как барабанчик. И кухонька и каморка, ей-богу, поверьте мне, звенели уже как горница, даже будто раздувались с настоящую горницу. Они словно бы пугались этих четких шагов, будто кто-то грохал по барабану, а кто-то другой или тот же самый пинал ногой по большому барабану — такого большого, может, и нету на свете, поэтому он злобно пинал и грохал по нему, — ну а это крохотное оконце, этот маленький барабанчик, знай стучало и барабанило в дрожащую горницу — лавочка у печи чуть было не начала подскакивать... Достаточно хорошего барабана, даже, может, только барабанщика, и враз все гудит, гремит, барабанит, трубит, верещит, лязгает и дребезжит, барабанит вся деревня, бедняжка, лишь бы от страху или от веселья не... хе-хе-хе, пусть у меня и нет ни шиша, а не хотел бы я отдать свою шкуру на барабан!..

Барабан или труба, башмаки иль сапоги, гвоздики или под-

ковки, трамта-ра, левой, правой, солдат бравый, я умею держать шаг!

Но оттуда, из той деревни, название которой я нарочно умалчиваю, чтоб никто, чего доброго, не обиделся, чтоб я никого не обидел или никому до времени памятник не поставил, да и чтоб никому не пришлось мне ставить скромный памятник, оттуда я почему-то не двигаюсь, хотя умею не только растабарывать, но и топать.

Пятак звякнул о пятак, труба затрубила! Меня и люди в Поважье остерегали: не к чему, мол, идти дальше. Неожиданно в одном незнакомце повстречал я друга. Может, он беден был, может, ему и самому спать было негде, но он сказал мне:

— Мил человек, не ходи дальше, ежели пойдешь пехом, может, и не заметишь, где тебя кончат. А поедешь поездом, человеке, хоть у тебя и денег-то нет на него, но ты солдат, знаешь небось, что солдаты всегда все дороги проверяют! Можешь спать у меня на чердаке, а нет, так целуй меня в задницу!

Поутру в деревне обыкновенно тишь да гладь. Временами светит солнышко, а когда не светит, так на небе облака или тучки, иной раз одна только туча, и не хочется ей метаться ни туда ни сюда, ни назад ни вперед, на небе всего одна туча, да что с того? Из этой одной тучи — а бывает она с целое небо — льет дождь, и хотя такое небо для кого-то безрадостно, может даже довести до отчаяния, оно способно иногда и утешить несчастного, отчаявшегося человека, — ведь и другие люди, на какой бы стороне они ни были, на этой или на той, тоже приходят в отчаяние и бывают несчастными, а то и просто от усталости, нерадивости или лени — вот именно от усталости или от равнодушия — забывают о себе подобных, и кое-кому поэтому может казаться, что весь мир забывчив, что все люди вокруг так быстро умеют себе все прощать, умеют так легко переживать свои муки, будто их уже ничего и не мучит и они смирились со всем, будто только и знают, кстати или некстати, прощать все...

А утром, вернее, под утро, снова объявляются эти музыканты, или же эти велосипедисты, да, возвращаются они тихо под утро, и, хотя проскальзывают по деревне быстро, похоже на то, что в какой-то партитуре, в которую тебе не дозволено заглянуть, им было предписано неторопливое адажио...

И я хоть и старый солдат, и вроде бы гордый, а, выходит, способен иной раз и на глупости.

Иду как-то по деревне, уже до верхнего конца добрался и вдруг слышу пение.

Оглядываюсь. Ясное дело, они!

Я как раз стоял у деревянного моста. Конечно, я мог остановиться и дать им пройти, но почему-то решил, что успею, ежели поспешу, проскочить, а уж там, на другой стороне, и подожду. Но они словно нарочно ускорили шаг, да еще и пели такую бравую боевую песенку. Вскорости они поравнялись со мной, нагнав прежде, чем я успел перейти мост.

Ничего не поделаешь! Но в голове мелькнуло: а не выкинуть ли мне какую-нибудь штуку? Как-никак я старый солдат. От меня, глядишь, и стерпят. Неужто я не могу с солдатами пошутить? Пойду этак не торопясь по мосту и нарочно не уступлю дороги!

И вот они уже наступают мне на пятки. Но тут меня осеняет: а ну как с ними не стоит шутить?

Уступаю дорогу. В последнюю минуту отскакиваю в сторону. Но командир, конечно, все равно что-то почуял или заметил. Я прижался к деревянным перилам и, хотя нимало не мешал проходу, засек, как он поглядел на меня.

Не по себе мне стало! Верней, подумалось, что должно быть от этого взгляда не по себе.

Но однажды плетусь по тому же мосту, а навстречу мне идут вразвалку трое пьяных немецких солдат. Один из них, совсем юный, почти мальчик, прикладывает к кепи руку, верней, два пальца, и молодым, пьяным голосом говорит мне:

— Коко! Привет, Коко!

Они удаляются, а я, поскольку уже поворотился, стою и

стою. Откуда этому пареньку известно, что меня так называют? Откуда он знает, что я Коко?

А однажды ночью деревню всполошил страшный крик.

Кто-то отчаянно кричал во тьму, кричал даже тогда, когда, наверно, сжимали ему горло, душили его...

— Люди, помогите! Меня убивают! Зовут меня Мишо! Я из Копаниц на Мияве. Если меня кто слышит, скажите моей матушке, моим родителям... зовут меня!..

Тут его, должно быть, ударили. По всей вероятности, сразу же и прикончили.

Утро, однако, чудесное. Люди — те, кто все-таки спал,— проснулись, как и обычно. Иные, наверно, ничего и не слышали ночью. Но те, что слышали и потом уснуть не смогли или даже немного поспали, встали как очумелые и только диву давались, что опять настал обыкновенный день да еще солнце светит. Вот и распогодилось, и можно будет свезти с поля то, что пока не успели...

Сосед спрашивал соседа:

— Слыхали ночью? Что это было? Кто так кричал?

— Слышал. Что ни ночь, кто-то кричит.

— А кто он такой?

— Кто знает. Слышал я и имя его, он имя свое кричал, только в нашей деревне нету такого, что ж, хоть имя и чужое, а помнить его надо.

Не останусь здесь! Пойду дальше. Есть ли куда идти, нету ли — всю ночь глаз сомкнуть не могу, все думаю, думаю, и, хоть запрещено оставаться допоздна на улице, а утром рано выходить из дому, да и самому мне неохота встречаться с велосипедистами, решаю уйти отсюда, идти дальше, и вот поэтому встаю, едва начинает светать.

Я и не знаю, утро ли сейчас, или только близится утро,— это смотря по тому, кто когда отправился спать, мне так не спится; и вдруг, откуда ни возьмись, эти велосипедисты, только без велосипедов, их пятеро или шестеро, и гонят они

примерно столько же мужчин, а среди них и двух женщин.

На траве блестела изморозь, может, и мелкий снежок выпал, и хоть было его очень, очень мало, казалось, что и той малости хочется мягко и весело хрустеть под ногами и что именно так она и хрустит. Из-за леса, а может, из-за рощи — этот край вы, верно, лучше меня знаете — вот-вот должно было выйти солнышко, помаленьку, правда, зима о себе уже заявляла, но солнышко потом действительно вышло, словно хотело разгадать чей-то злой умысел.

Как я уже сказал, их было пятеро или шестеро велосипедистов без велосипедов. Перед ними группка замызганных, заляпанных грязью мужчин, у двоих руки скручены проволокой. И среди них две женщины: одна лет пятидесяти, другая чуть помоложе, на обеих русские кофты, строченные кацавейки.

Я вылупился на них — пусть и запрещено в такую рань выходить на улицу, плевал я на их запреты. Ну и наткнись на меня кто ночью, кому до меня дело? Но тогда, как сказано, едва забрезжил рассвет, на улице ни души не было, только эта группка. И любопытство погнало меня к самой дороге, мне, верно, казалось, что, заговори я с кем-нибудь из солдат, я, глядишь, смогу и помочь кому-то.

— Куда вы их ведете, ребята?!

Оглядывается один, другой, но никто не отвечает.

Это и впрямь ничего хорошего не сулит.

Иду за ними по пятам и, хотя они торопятся, пытаюсь подладиться к их шагу, пробую завести с солдатами разговор, но один из них ясно дает мне понять, что ни к чему глаза на них пялить, что самое лучшее, что я могу сделать, — это совсем исчезнуть. А я не отстаю, иду за ними по пятам:

— Вы что, ребята, с ума посходили, я ведь тоже был солдатом! Служил в австрийской армии. У меня даже орден есть. Гляди-ка, у вас там и женщины! Их-то хотя бы отпустите!

Но с такими разве столкнешься? Я и не поспеваю за ними. На костылях, ясное дело, за ними не угонишься, да тут еще и запыхался совсем. Наконец тот солдат, что идет по-

зади и еще раньше советовал мне ни во что не вступать, совершенно ясно опять дает понять, помогая автоматом и пугая взглядом, какое дело тут затевается, но при этом как бы просит меня поскорее исчезнуть: дескать, и для меня дело может кончиться плохо. Замедляю шаг. Чуть перевожу дух. Куда их ведут? Почему так гонят? Хотят их сперва погонять, что ли, проучить как следует? Среди них и женщины. Уж не собрались ли они их тоже сгубить? Много чего хлебнул я в жизни, да и самому не раз приходилось всякую грязную работу делать. Но чтоб в женщин? Вот в такие перепуганные кацавейки? Нет, это им не пройдет!

Засранцы чертовы, думаете, я боюсь вас? Чего мне вас бояться? Ведь я в увольнительных был наверняка дольше, чем вы в солдатах! Когда-то я, правда, одной орясиной умел орудовать, а теперь... И хоть они уже порядочно отделились от меня, я снова пыхчу по дороге, наполняясь все большей злобой. Даже не пойму, то ли так шумно бежит кровь по венам, то ли так гулко сердце колотится, но вдруг слышу, будто и барабаны бьют, и дудки свистят, визжат горны... Я еще солдат! Пусть сдохнуть придется, но если нынче правда убивать будут, то и я кого-нибудь пришибу костылем!

А они никак бегом пустились! И этих бедолаг вроде заставляют бежать. Свернули на проселочную дорогу, направились к лесу. Лес от шоссе неподалеку.

Я сокращаю путь. Ударяю напрямки. Но вскорости вижу, что костылям это не по нраву. Им не все равно, ковыляю ли я по дороге или же прямо по пахоте. Перерезала мне путь и канава, следом наскочил я и на другую, но чую, злости во мне не прибавляется, а вроде бы становится меньше. К счастью, нашел я место, где можно перемахнуть через канаву. И сквозь кустарник пришлось продираться, но в конце концов набрел я на тропинку. Иду по лесной опушке, а эти меж тем совсем из виду скрылись.

Топаю наобум. Словно бы уж и забыл, что хотел кого-то опередить, что торопился куда-то.

Тропинка передо мной совсем нетронутая, затянутая

инеем и чуть присыпанная редким осенним снежком. И не верится, что я в лесу потому лишь, что кто-то кого-то извести собрался.

Набретаю на другую тропинку. И хоть она тоже тянется вдоль лесной опушки, примечаю, что она уже не белеет, а как бы вроде предупреждает меня об опасности. Сворачиваю с нее и иду еще более сторожко, прислушиваюсь, шарю глазами по сторонам. Внезапно вздрагиваю. Вздрагиваю, прежде чем замечаю их или улавливаю какой-либо звук.

Я отпрянул за дерево, пригнулся — и вдруг они передо мной как на ладони. В двухстах — трехстах шагах от меня взбиралась к лесу, и чем дальше, тем круче, такая небольшая узкая ложбинка, сперва, должно быть, они думали подыматься по ней и даже прошли немного, а потом, видать, заторопились. Некоторые из них, наверно, ездили куда-то ночью на велосипедах, устали порядком, и, конечно, переть вверх по ложбине им вовсе не улыбалось — их ждала грязная работа, и хотелось поскорее разделаться с ней; может, они даже сердились, что ложбина так круто уходит вверх. С левой стороны подымался косогор. Уже светило солнышко. Не то чтобы очень. В лесу солнце светит неярко, и хотя осенью деревья редеют, ему все равно приходится продираться сквозь них или долго, особенно поутру, облизывать изморозь, а то и мелконький, чуть покрупней песка или манки, не очень белый, а скорей голубой, мягкий и хрусткий снежок. Но были там и лиственные деревья, и уже почти все облетелые, и пусть мороз или снег все прихватил, на косогоре листочки играли не бурым, а совсем желтеньким цветом, словно под некоторыми деревьями мороз или снег не решился обидеть желтую, листвою обсыпанную круговинку или эту круговинку вчерашнее или позавчерашнее солнышко лучше облизало, хотя вчера, может, солнце вообще не светило, был несолнечный день. А под косогором был небольшой взгорок и тут же рядом такая удобная котловинка. И в этой котловинке они рыли себе яму. Все были передо мной как на ладони.

Мороз уже порывался сковать землю, но она еще не

покрылась бог весть какой коркой. Наверно, копать было трудно. Десять мужчин и две женщины в кацавейках. Но у них было мало кирок и только две лопаты. Приходилось чередоваться. Как раз в ту минуту, когда я подошел, они, должно быть, сменяли друг друга. Женщины тоже помогали копать. Когда забирали у них кирку, они рыли и выбрасывали глину руками, словно хотели, чтоб все побыстрее кончилось.

Мне еще никогда не доводилось видеть, чтоб кто-нибудь, да еще гражданский, рыл себе могилу. Меня и то ни к чему такому никто не принуждал. А если бы и принудили, или я кого-то должен был бы принудить... коснись дело женщины, мне достаточно было бы увидеть на ком-нибудь словацкую или русскую кацавейку, впрочем, даже не знаю... Годы берут свое. Когда-то, видимо, нервы были покрепче.

Все еще роют?! И эти кацавейки? Неужто и впрямь их всех хотят?.. Нет, лучше бы мне быть где в окопах! Из окопа высунешь голову и — если тебя ничего по ней не щелкнет — можешь оглядеться: ничейная полоса, даже неприятеля можешь увидеть — бежит перед тобой, прикрыв голову снопиком или веточкой, а то и охапкой кукурузы, которую кто-то давно уже вылутил и сварил поленту...

Боже праведный, неужто их?..

Грянули выстрелы. Может, это только залп дали. Но для залпа мало было солдат. Мало и для карательной команды, мало и для отделения, хотя выстрелов, конечно, было достаточно. Стреляли же из автоматов. Мне казалось, что только двое стреляли, сначала длинной, а дальше короткими очередями. Наверно, мне не очень хотелось видеть это. Или слышать. Не хотелось видеть, как кому-то приходится убивать людей, среди которых и эти две кацавейки.

Я лежал на земле, и, хотя все твердил себе, что я солдат, бог весть, то ли от усталости, то ли от злости, от напряжения или от холода (пусть я и покрылся потом), я вдруг перестал узнавать себя — меня всего затрясло.

Я видел своими глазами, как их всех перебили, а потом двое или трое солдат торопливо их закопали.

Солдаты ушли. А мне подумалось, что полагалось бы хоть получше прикопать этих несчастных. Но как и чем? Вы не представляете, как я дрожал. Как у меня громко стучали зубы. Я даже рад был, что меня никто не видит. И только поздней, хотя все еще я был один, мне вдруг стало стыдно за себя.

Потом и я побрел прочь. Вскоре снова вышел на тропинку, а когда миновал лес, увидел, уже не на проселочной дороге, а на шоссе группку — все же, видать, это было отделение, но ведь и они терпели потери, — группку этих солдат. Они медленно плелись к деревне, и издали казалось, что идут они так медленно, будто не хотят или не смеют туда прийти...

День был довольно холодный, но, в общем, приятный. Обо всем хотелось забыть. Настроение, правда, не подымалось, и я пытался хотя бы уговорить себя, что мне все-таки повезло и что действительно самым разумным было ни во что не вступать. Да и какой от этого прок — разве что и меня кокнули бы. Даже приближаясь к деревне — откуда утром, прежде чем увидел этих несчастных, а то еще вчера вечером собирался уйти, в самом деле податься домой, в Турец, — я не хотел признаться себе, что возвращаюсь в нее только затем, чтоб кому-то рассказать, что я видел, хотя бы кому-то шепнуть, что на этих велосипедистов с их велосипедами люди должны смотреть по-другому, зорче, решительней, я не хотел признаться себе, пусть уже и до этого кое-что осознал, что тянет меня назад и оскорбленная, но как бы дремлющая злость или даже бешенство, а главное, собственный стыд.

Я был очень измучен, должно быть, еще и оттого, что приглушал в себе ярость, но, возвращаясь в деревню, хоть отчасти и понимал, что поступаю глупо, испытывал при этом и радость, что опять могу пойти туда, где многих знаю и где меня знают; в общем-то, ведь приятно воротиться в такое место — если не ради чего-то другого, так хотя бы потому, что не раз через него хаживал, а на сей раз даже

подольше там задержался, да вот утром позабыл попрощаться.

Вхожу в деревню, в садике вижу женку — до чего ж хорошо, что можно заговорить с ней!

— Да благословит вас бог, матушка. Как здоровьице?

— Да вот работаем, работаем. Помаленьку трудимся. Петрушку копаем. В похлебочку, в похлебочку. Дед горшок купил, завтра воскресенье, будет в нем вариться свежая похлебочка.

— Хм, и только из петрушки? Ежели у вас одна петрушка, зачем новый горшок?

— Морква уже в кладовке. Нонче уж одна петрушка. Глянь-ка, снег-то уже выпал.

— Хороший снежок. Послушайте, матушка, не найдется ли у вас какого лишнего грошика? Может быть, венгерского. Либо *Böhmien und Mähren**, не бойтесь, я могу и на шайны** считать, в серебряных и золотых тоже толк знаю, дайте пятак, одолжите. Глядишь, уже полдень на носу, а я еще не ел ничего, но больше всего хочется пива или чего поострее, чтоб оно по горлу как ножом полоснуло.

— Экой шалопут! Молиться-то нету охотников, а вот языком молоть да людей баламутить...

— Все ж таки снежок выпал!

Она нагнулась, пошарила под юбкой и нашла кошелек, сперва положила его на колено, порылась в нем, а потом, словно разозлившись сама на себя, пошуршала бумажками, опять их куда-то упрятала, затем высыпала на ладонь мелочь, покопалась в ней... Тут я, недолго думая, просунул руку сквозь дощатый забор, пальцы мои подскочили, и я хватаю у нее с ладони металлическую пятикронку.

— Негодник! Я хотела дать крону.

— Значит, пять раз дали! Новый снежок выпал! Вчера, кажись, я не ел, да и нынче во рту ничего не было, может, я эти пять крон и заслужил...

* Чехия и Моравия (нем.). См. сноску на с. 94.

** Бумажные деньги, введенные в Австро-Венгрии в 1913 г.

Вхожу в корчму. Есть ли у меня деньги или нет, корчмарь, когда пиво имеется, всегда подносит мне кружечку, пусть и не очень большую. Ну а сейчас я и вовсе при деньгах. Корчма пустая, селяне, даже те, у которых водится монета, вряд ли ходят по будням до обеда в корчму. Кто ж работать будет на них?

За одним из длинных зеленых столов сидел командир. Пожалуй, его-то я и искал. Перед ним лежал развернутый кулек, он что-то выбирал из него. Судя по запаху, это была рыба. Я это понял, когда сел через два стола от него, нет, верней, еще когда проходил мимо. И я не ошибся: он действительно ел рыбу. Наверно, я ему даже немножко завидовал, или, может, просто меня брало любопытство, где он ее раздобыл. Я сел и прежде, чем отставить, прислонить к лавке костыли, поднял руку с вытянутыми двумя пальцами, указательным и средним,— так приветствуют, дело известное, друг друга солдаты на фронте, когда, сменяясь на посту или в окопе, по-товарищески дают понять, обычно только взглядом, что они солдаты и что должны вновь и вновь сменяться, а стало быть, выживи или погибни они, все равно придет кто-то другой, и снова будет так или этак...

Однако на приветствие мое он не ответил. Он ел рыбу, копался в ней пальцами, словно бы даже не замечая того, что я вошел. Ничего бы и не случилось, будь где-то рядом корчмарь, но тот куда-то запропастился, а другого, с кем можно было бы завязать разговор, поблизости не оказалось. Должно быть, мне просто не повезло. Сызмала у меня в характере заводить с людьми разговоры, и, если я где-то задерживаюсь и не вижу поблизости друга, я стараюсь отыскать его, не то убираюсь прочь.

Я сел. А поскольку я всегда уверен во всем и привык считать, что могу и из недруга сделать друга, я улыбнулся и командирю, о котором уже успел узнать, что он австрияк. Улыбнулся я почти что добросердечно и, только заговорив, вроде почувствовал, что горю желанием оскорбить его, что, пожалуй, даже искал его ради этого:

— Приятного аппетита! Как дела? Все хуже и хуже,

nicht wahr*? Велосипедики как, все еще служат? В свое время вы случаем гонщиком не были? Я ж ведь когда-то служил в Вене. Тогда велосипедов было поменьше. Право, пан майор, я уже только из любопытства за всем наблюдаю. Я просто так спрашиваю. Чего становится меньше? Людей или велосипедов?

Я выдал все это на австрийском, а может, на венском или прешпоркском немецком наречии. По-другому не обучен. Но он меня понял. А если и нет, я мог бы кой-какое словцо и добавить, но у него не было охоты со мной вступать в разговор, похоже, что и рыбу есть пропала охота — он уж только ковырялся в ней. Меня, пожалуй, это чуть рассердило. Да, выходит, я лучше подготовился к этой встрече. Однако решил действовать осторожно, потихоньку этак постукивая, хорошенько вычеканить его, как турок — медные тарелки.

Он ни гу-гу. А мне хочется с ним поболтать. Приходится и подсыпаться к нему:

— Пан майор, знаете, я вам даже не удивляюсь! Вы, должно быть, в моих годах, много чего в жизни перевидели, будь я на вашем месте, мне б тоже не до разговоров было. Но вы уж мне тоже не удивляйтесь. Право, пан майор, могу я спросить, где вы достали рыбку? Как только я вошел, она мне сразу в нос ударила.

А он по-прежнему ни слова... Тут я, пожалуй, чуть заробел. Но он как бы сам напрашивается на разговор, сам меня подстрекает. Я охотно бы и дал задний ход, но всегда, ежели кто мне не отвечает, даже если мне кажется, что меня слушать не желает, во мне — захоти я и совладать с собой, притвориться, — во мне всегда начинается что-то подыматься, а уж когда, знаете ли, подымается, я невольно иной раз могу и хорошего, молчаливого человека избить.

— Я не хотел вас обидеть! Боже избави! Пан майор, я не обижаю людей! Я-то без причины даже рыбку не обижу. Если что и брякну или спрошу о чем, так исключительно из любопытства. Прошу прощения, пан майор! Недосуг мне

* не правда ли? (нем.)

газеты читать. Да и купить их не на что. Но временами все ж таки в газетки заглядываю, и вот уже месяц тому, а то, поди, и больше будет, читал я, что эти проказники, которые против вас в Нормандии высадились, перешли уже Сену, научились, разумеется, у вас же, работать под Роммеля* и что уже тогда — даже выговорить трудно — изрешетили в пух ваши фронтовые позиции. И неужто это было под Марной? Говорят, именно там, где в первую войну в сентябре тысяча девятьсот четырнадцатого немецкой армии генерал-полковника фон Клука туго пришлось, но было это в начале войны, и пан генерал-полковник, ну и его адъютанты, да и низшие чины и даже солдаты получили уйму наград, так как сорвали попытку маршала Жоффра** обойти с флангов немецкую армию. Немцы тогда хорошо держались. А вот в конце войны победителем на Марне оказался не немец, а француз, маршал Фош***. И, глядь, снова Марна! Ей-богу, уже месяц тому я где-то читал, что сломлена была и линия обороны на Сене. Опорные пункты, которыми немцы пытались удержать Париж, уже пали. Бедные ребята, тяжело им там приходится!

А он — ни слова. Ковырялся в рыбе, и только. Я, разумеется, хотел его оскорбить, но голод мучил меня, и я чуть было даже не выпросил остаток рыбы. Но уж больно суров был вид у него. Ну погоди, чертов злыден!

И я снова давай в него въедаться:

— Пан майор, знаете, что я слышал? Или, может, читал. Теперь наспех и не припомню, читал или слышал, а может, мне кто сказал, что и Роммелю уже капут, якобы он каким-то образом связан с покушением на нашего вождя, пана фюрера. Сам себе капут схлопотал. Но знаете, я думаю, что он решил себя еще и из-за всех этих отступлений. Ведь еще

* Роммель Эрвин (1891—1944) — немецко-фашистский генерал-фельдмаршал. Участник антигитлеровского заговора 1944 г., покончил жизнь самоубийством.

** Жоффр Жозеф (1852—1931) — маршал Франции, главнокомандующий французской армией, получивший известность в первую мировую войну после Марнского сражения (5—12 сентября 1914 г.).

*** Фош Фердинанд (1851—1929) — маршал Франции. В первую мировую войну командовал группой армий.

не так давно был в Африке, его даже африканским лисом прозывали. И вдруг почти что дома, в Нормандии, изволь самому работать под Роммеля! Просит танки, ему шлют дубовый или буковый тес, пускай, дескать, ребята сами себе танки мастерят. Просит самолеты — вот тебе еще доска, а угодно и две, либо где сам раздобудь картон, приставь на крылья лампочки и изготвь самолеты, потому что война длится долго, а ну как Геринг новых самолетов уже не пришлет?

Вдруг он повертывается ко мне и спрашивает:

— Тебе откуда это известно?

— Пан майор, я старый солдат. Даже если я это и выдумал, сами видите, наград у меня — девать некуда. А уж раз война касается меня только с такой стороны, то я знаю то, что знаю, и могу позволить себе это высказать. Могу говорить напрямик? Допустим, авиация союзников налетает на ваш картонный аэродром, и знаете почему? Может, только потому, что хотят вас на смех поднять, а ради потехи на бензин они не скупятся, глядишь, и сбросят на ваш аэродром обыкновенную деревянную, из дерева выструганную бомбу. Говорят, они уже проделали такое, я слышал об этом. Может, это шутка? Только вот чья? Не обижайтесь, пан майор, но даже если кто и выдумал такую шутку, то умному человеку кой о чем она говорит. Ну а что делается на восточном фронте, и вспоминать нечего.

Пожалуй, я всего этого и не сказал. Может, оно только в голове вертелось, а может, мне и больше хотелось сказать, и я понимал, что надо бы попрердержать язык, но все-таки молот и молот...

Вдруг он запустил мне промеж глаз недоеденной рыбой.

Возможно, он даже не хотел меня оскорбить, может, просто думал — я испугаюсь. Только я же солдат. И вдруг мне захотелось доказать себе это. Я вскочил на ноги, забыв, что их нету, упал на землю, поднял кулак и только потом стал шарить вокруг себя — искал костыли. Меня трясло от злости, хотелось ударить. Ну, уж этого, окаянный, ты не смел себе позволить! Я старый солдат, и пусть ты выше по

чину... К рыбе — даже представить невозможно, откуда он там взялся,— метнулся кот, я схватил его и со всей силой швырнул командиру в рожу.

Он мог на месте пристрелить меня. Но он даже не ударил. Я видел по нему, как трудно ему было совладать с собой,— уже уходя, он еще раз оборотился и поглядел на меня так, словно окатил грязью. И я с облегчением подумал, что еще успею скрыться. Но в эту минуту вошел корчмарь.

— Ты один здесь?— Он поискал глазами командира.— Я ходил бочку открывать.

Я даже не успел объяснить что-либо корчмарю — в дверях уже выросли солдаты. В самом деле, четверо, а то и пятеро. Как ему удалось так быстро их скликнуть? Автоматы солдат наведены на меня, а глаза всполошенно рыскают по корчме, словно им приказано перестрелять всю деревню, и вот те на: я всего-то один. Верно, это были созванные наспех ребята, которых я, пожалуй, и знал. Если не по имени, так хотя бы по виду — встречался с ними на улице или видел их на построении. Наверняка они меня тоже узнали — я ведь часто наблюдал за ними и, кажется, могу сказать почему.

В Вене есть улочка, а на ней дом, и во дворе этого дома даже ночью бывали открыты ворота, на воротах не было даже кольца, когда-то выходил из них седоволосый старик, с ним я больше так никогда и не встретился. Но жила в том доме и Лили Марлен, а звали ее Лени Вейсс. Я нарочно до сих пор не называл этого имени, от самого себя и то охотно утаил бы его, ведь я считал, что у нее уже давно мог родиться ребенок, девочка или мальчик. И не однажды я корил себя, что так ничего никогда и не послал Лени Вейсс, не чиркнул ни слова, не купил для ребенка никакого подарка, хотя на что-то толковое у меня и денег-то никогда не было. А пойти просто на глаза показаться и доложить, что я, мол, Дюрис? Когда, случалось, я глядел украдкой на этих парней при построении или наблюдал, как они катят на велосипедах, мне не раз хотелось крикнуть им: а нету ли

среди вас такого, который знал бы Лени Вейсс, не служит ли он, когда речь идет о свинстве, не служит ли он ненароком тоже этому свинству? Дюрис не должен опять служить свинству.

Наставив на меня автоматы, они дали понять, что надо двигать. Щелкаю костылями. Идем.

Минутой позже меня уже ведут по деревне, и люди тащат на меня глаза, две-три бабы испуганно крестятся. Но я порываюсь даже улыбнуться:

— Не бойтесь, я старый солдат, мне ничего не сделают. К тому же я калека, что мне станется!..

А тут, откуда ни возьмись, и та тетушка — с ней я, пожалуй, меньше часу назад разговаривал и цапнул у нее с ладони пятикронку. Тогда она стояла в садике с петрушкой в руке, а теперь — даже не знаю, из какого двора она вышла, — стоит на обочине дороги, удивленно пялится на меня и в руке держит порей. Мне бы остановиться, но, поскольку я постукиваю и брякаю по дороге с помощью еще нескольких пар кованых сапог, я лишь чуточку замедляю шаг и пытаюсь перемолвиться с ней словом:

— Так у вас и порей, порей тоже есть? В похлебочку, что ли?

И она, полная страху, оглядывает два корешка и показывает их мне:

— Только два корешочка. У соседки взяла.

И мне вдруг стало плевать, пхнет ли меня кто под ребра, толкнет ли, — я как будто даже весело улыбаюсь.

— Утром вы копали петрушку, а теперь у вас уже и порей, — говорю я этой тетушке. Я чуть пригибаюсь, немного наклоняю голову, словно получил приказ повернуть направо, но делаю это лишь для того, чтобы пониже плечо опустить, лучше опереться о костыль. Сую руку в карман и вытаскиваю монету. — Утром вы хотели дать мне пятак и долго не могли найти кронку. Уплыла у вас из кошелька пятикронка. — Я сперва ей показываю монету, потом возвращаю: — Я, хозяйшка, только в долг взял. Да не было времени даже разменять ее.

Но когда мы оказываемся на узкой улочке, меж высокой кирпичной стеной и низкой каменной оградой, ведущей к школе, чувствую — у меня сводит желудок. Не могу отогнать страх...

Чего они хотят от меня? Я ведь ничего не сделал. Ну пусть немного и... Все-таки у меня было право... Я солдат и калека!

Куда годится на инвалида войны нападать?.. Чего они хотят от меня? Может, хотят мне все припомнить? И мои орден... и тот случай на мосту?

Заперли меня в школьном дровянике.

Может, продержат тут целую ночь, проучат немного, а потом и отпустят? Ладно, пускай наказывают. Доводилось ночевать и в худших условиях.

Ну а если они подойдут к делу строже? Что, если все переиначат? Если представят дело так, что я напал на командира? Все ведь только от него зависит.

Вскоре командир вызвал меня. Сидели там еще двое, один офицер и, кажется, простой солдатик, денщик, что ли. Я попробовал как-то извиниться и хотя бы что-то объяснить, но командир требовал от меня только коротких ответов. А я, хоть и могу быть лаконичным, чувствовал, что у меня ничего не выходит. Обо всем хотелось говорить поподробнее, но он меня то и дело одергивал.

Они решили проверить у меня документы, но какие еще документы? Двадцать лет мне никаких документов не требовалось. Даже когда я ходил за похлебкой, я никогда не знал, где получают нищенское вспоможение, а если и знал, казалось мне, что путь туда слишком долг. Никто меня не винил в этом, никто и никаких документов не спрашивал — ведь кто я и что пережил и без того говорили мои костыли, да и ордена на моей широкополой шляпе.

Хм, а у этой тетушки был в руках порей. Надо было обязательно понюхать его. Почему ж я не подошел к ней?

Вдруг захотелось припомнить, как пахнет свежий, только что выдернутый из земли порей. А как пахнет похлебка!

Когда бы я ни проходил утром по улице, мне даже незачем было знать, что нынче воскресенье, уже поутру, обычно из горшка бедняка, беднота ведь еще затемно бывала на ногах, затемно ставила в печку горшок, в котором по второму разу вываривалась одна и та же говяжья косточка, частенько даже без зелени, но кто-то бросал в горшок раздобытый где-то порей, и этой похлебкой на всю улицу, кем-то уже старательно выметенную, пахло воскресенье...

Мне подумалось, что в Турце, хотя там и жило немало шафранников*, собирателей трав, в редком саду встречался порей, и я невольно почувствовал и свою в том вину. Я сморозил глупость. Почему еще вчера или сегодня утром не ушел? Если эти мерзавцы, хотя ничего хорошего их глаза не обещают, если они все-таки отпустят меня, попрошу-ка я у кого-нибудь семечко порея и, куда ни пойду, везде и повсюду буду его предлагать, а не пойду нынче, так отправлюсь весной, и карманы мои полны будут семян порея, остановлюсь я у любого садика, обопрюсь о костыль и сыпну их на грядку. Шафранники меня не подведут, что-то примется, и даже околея я где-нибудь на дороге, все равно что-то примется, чтобы у бедных женщин, а главное, у детей, которых, может, выгоняют плачущих в дождь только потому, что они потеряли пятак на уксус, всегда, и в Турце тоже, хотя бы по воскресеньям, благоухал и бедный горшок, чтобы благоухал он и пореем...

Мать честная, похоже, эти гады меня не выпустят. У меня дурное предчувствие, только не хочется думать о самом худшем. Лучше о чем-нибудь другом поразмыслить. Думаю и о пане Бартоке, и вдруг до меня доходит, почему одна из моих песенок так ему понравилась. Наверно, он уже знал ее, но ему понравилось, как я ее переиначил. В мелодии то тут, то там я вроде бы что-то вытягивал или выводил едва заметное коленце на тирольский манер, то же самое пытался иной раз сделать вместе со словами и даже знаю поче-

* Бродячие торговцы и разносчики целебных трав, редких пряностей, корнейев (словацк.).

му. Потому что песню эту я, наверно, от кого-то очень давно слышал, но не мог ее как следует вспомнить, мне только всегда казалось, что где-то журчит и булькает поток, из которого можно набрать воды в кружку, и что потом начинает и в кружке журчать и кто-то поет, поет, может, лишь потому, что нечего ему добавить в это журчанье, и всю жизнь я искал этот голос, пробовал его в себе воскресить, но наталкивался на все новые и новые голоса и уж только пытался отыскать среди них и свой голос, зачастую просто мурлыкая себе под нос...:

Далеко пойду, далеко зайду,
Далеко-далеко большой камень найду.

Далеко улечу, домой не ворочусь,
Как же тот камень я позолочу?

Далеко мой камень, далеко садочек,
Долгая дорога, песенка короче...

Что ж, извольте, идем! Привели меня к церкви, и хоть ничего хорошего я не ждал, все-таки немало удивился — с ветки свисала веревка. Хм, да еще с липы.

Не хотелось в это поверить.

Я поглядел на одного из солдат, мне показалось, что это тот, кто сегодня утром предупреждал меня, чтобы я скрылся. Взглядом спросил его: веревка?

Он подтвердил.

Я обвел глазами и остальных, но взгляд мой снова остановился на этом парне: я ведь солдат. Почему же веревка?

Он не шевельнулся, не моргнул даже, но и без того опять подтвердил: да, веревка.

Дело было к вечеру. С улочки, по которой я недавно шел, а теперь меня вели и по которой не раз до этого проезжали велосипедисты, доносилась как будто губная гармошка, а поскольку всю жизнь я кого-то немножко обманывал — приходилось ведь не раз и себя обманывать, — я и сейчас с минуту размышлял над тем, поубавится ли до утра этих велосипедистов, верней, станет ли этих велосипедистов на одного или на два меньше.

Am Brunnen vor dem Tore,
da steht ein Lidenbaum.

Ich träumt' in seinem Schatten
so manchen süßen Traum*...

Показалось, что мяукают кошки. Словно заодно со мной командир решил наказать и кота, всех котов и кошек в деревне, в которой я не родился. Но у меня уже не было времени осматриваться вокруг. Командир выступил вперед, подошел ко мне, и хотя ордена я носил уже на грязном штатском платье, он разжаловал меня. Сорвал сперва ордена, те, что висели на груди и наверняка, если он и впрямь был солдат, вызывали у него особую зависть, потом сдернул с головы и шляпу, даже шляпы меня лишил. У него была полная пригоршня орденов. Но оказалось,— и тут я уже точно понял, что он действительно австрияк,— он не знает, что с ними делать. Бросить их на землю — не хватило духу. Он сунул мне сперва в руки мою широкополую шляпу, он не жалел меня, скорей почувствовал, что я жалею его, но все равно он их бросил, полную горсть орденов с первой войны бросил в шляпу и чуть стыдливym взглядом дал понять своим молодцам, что им положено закончить работу.

Они усердно подскочили и так же, как до этого сердечно приветствовали, сейчас столь же сердечно, с такой же, что ли, воинской сердечностью подняли меня, я даже и сам приподнялся, а когда уже петля была у меня на шее, выпустил из рук шляпу, чтобы чуть помочь этим молодцам и освободить костыли.

А потом — ничего. На небе светил месяц. Был он еще бледен, но позднее засиял вовсю. Он горел, будто начищенный горн.

* У колодца близ ворот
липа старая растет.

И сладкий сон мне снился
в тени ее ветвистой... (*Песня Вильгельма Мюллера (1822), положенная на музыку Фр. Шубертом.*)

Шидула В.

Ш57 Солдат: Повесть/Пер. со словацк. Нины Шульгиной. Предисл. Святослава Бэлзы.— М.: Известия, 1985.—128 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)

Повесть рассказывает о трагической судьбе солдата, искалеченного в первой мировой войне, но не сломленного духом и нашедшего в себе силы и смелость бросить вызов фашизму.

«Прозаическая баллада» Шидулы воссоздает обобщенную картину жизни и духовного состояния людей, которым довелось пережить две войны, развязанные империализмом.

Ш 4703000000—040
074(02)—85 81—85

ББК 84.4 Че
И(Чехосл)

ВИНЦЕНТ ШИКУЛА

СОЛДАТ

Ответственный за выпуск *В. Перехватов*

Редактор *И. Кивель*

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *Г. Голосовская*

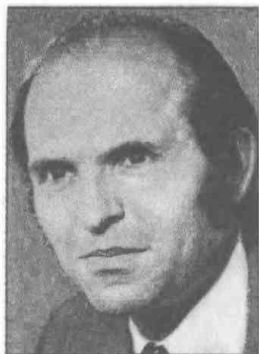
Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 949

Сдано в набор 4.06.84. Подписано в печать 19.10.84. Формат 70×100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,2. Усл. кр.-отт. 10,7. Уч.-изд. л. 6,49. Тираж 50 000 экз. Зак. № 565. Цена 65 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». 103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
143200, Можайск, ул. Мира, 93.



Винцент Шикула

(родился в 1936 г.) — крупнейший писатель Словакии, заслуженный деятель искусств, автор многочисленных рассказов, повестей, романов, книг для детей. Большинство произведений Шикулы были переведены на русский и многие европейские языки, удостоены различных отечественных и международных литературных премий. Автобиографическая повесть "Каникулы с дядюшкой Рафаэлем" (1966) получила премию на международном

конкурсе "Литература для детей атомного века", сказка "Дюро, привет от Дюро" (1979) — премию Андерсена.

Трилогия "Мастера" (1976—1979), рассказывающая о судьбе и участии крестьян Западной Словакии, откуда Шикула родом, в Словацком национальном восстании 1944 г., принесла автору наибольший успех.

Прозаическая баллада "Солдат" тематически тесно связана с трилогией, ибо В. Шикула, как он не раз говорил, принадлежит к тем писателям, которые "всю жизнь пишут одну книгу". И книга эта — о словацком народе в наиболее сложные периоды его национального становления.